



Максим СТЕФАНОВИЧ
г. Чита

ПОСЛЕДНИЙ МАЙ ГОРДЕЯ ГРОМОВА

Документально-художественная
повесть

Кузьмич уже неделю хворал: снова шалило сердце и ныли застуженные ещё с войны суставы в ногах. Старый фронтовик привычно грешил на погоду — уже неделю за окном ветер рвал провода. Май выдался наособицу: одни магнитные бури. Очередной День Победы Кузьмич рисковал провести в окружении таблеток и пузырьков с лекарствами, которыми был заставлен столик рядом с кроватью ветерана. Престариум, дигоксин, каптоприл, торасемид, рибоксин... Кузьмич уже запутался в снадобьях, глотая их скорее на автомате и запивая любимым отваром из лимонной корочки — врач посоветовала для нормализации работы сердца.

Старик, обычно строго следивший за собой, заметно изменился. За несколько дней на его изрезанном глубокими морщинами небритом лице выросла жёсткая серебристая щетина, а сам он как будто стал ниже ростом.

В тот день Кузьмичу было чуть полегче. Вставив в рот зубные протезы, он дочапал до ванной, включил холодную воду и умыл лицо. Устало

взглянув на себя в зеркало, старик недовольно поморщился. Провёл ладонью по небритому лицу — не то скрип, не то шуршание. Сказал себе с ноткой недовольства: «Надо бриться».

Впрочем, на свой внешний вид Кузьмич в последнее время почти не обращал внимания — отлежаться бы или уж помереть. Помереть лучше: одному жить тяжело. Был у Кузьмича друг с войны, так и тот лет семь назад помер прямо в День Победы...

Кузьмич почти всё время лежал. Он или дремал, или читал исторические книги, иногда включал телевизор. Вставал Кузьмич больше по необходимости, чтобы сходить в туалет или подогреть чай. С трудом заставив себя подняться, обычно проходил на кухню, шаркая по полу, потом высохшими, трясущимися руками с синими вздувшимися венами доставал из холодильника колбасу, от которой по-стариковски старательно и как-то бережно отрезал пару кружочков, после чего аккуратно убирал колбасу в холодильник. Потом так же аккуратно отрезал пару кусочков хлеба, кипятил чай и подолгу сидел за столом, глядя в окно и дымя сигаретой.

Очередной день в жизни фронтовика не принёс особых перемен. Всё было как всегда. Подложив под голову две подушки, Кузьмич полулёжа-полусидя снова читал книгу Баурджана Момыш-улы «За нами Москва. Записки офицера», которую неделей раньше принесла ему невестка. Галина угадала с подарком. Кузьмич, обычно не особо любивший фильмы, книги о войне, на этот раз от чтения не мог оторваться. Может быть, потому что автор сам прошёл войну и не выдумывал: он писал о том, свидетелем чего был сам. Ветеран с головой ушёл в сцену боя, захватившую его целиком:

«Серое туманное утро. Как и вчера, громовая артиллерийская канонада... Как и вчера, идут жаркие бои... К полудню туман рассеялся, выглянуло солнце. В воздухе появились самолёты. Они кружатся, просматривают цели, делают заход, пикируют, бомбят...»

Лейтенант Березин перебегает из окопа в окоп. Перед мостом, так же, как и в Осташове, в кюветах валяются, задрав вверх колёса, несколько мотоциклов, там и сям лежат трупы в мышино-серых шинелях. Немецкие цепи...

— Ведите огонь, перебегая из ячейки в ячейку! Два-три выстрела и — марш в другую ячейку, а то он вас укокошит! Живо! Иванов, ты что в белый свет стреляешь? Целься хорошенько. Я тебе дам — пули за молоком пускать...

Так он бежит от бойца к бойцу, от ячейки к ячейке...

На позицию сапёров обрушивается беглый огонь крупнокалиберного артиллерийского дивизиона — словно завыл хор сотен ведьм, потом загрохотал сказочно громадный барабан, затем вздымаются ввысь десятки огромных чёрно-огненных столбов... Со скрежетом, рокотом гигантскими черпаками поползли танки...

— Приготовить запалы, проверить шнуры! — приказывает лейтенант Березин. — Следить за мной!

Вот головной танк подошёл к мосту, остановился, трижды изрыгнул из орудия огненную струю, затрепал пулемётом и уверенно пополз по мосту. За ним последовали ещё три танка... Наши сапёры побежали под мост. По мосту танки ползут медленно, осторожно. Головной вот-вот «перешагнёт» мост и начнёт мять гусеницами шоссе. Но в это время лейтенант Березин с окровавленной головой приподымается из окопа. Лицо его измазано грязью, глаза злые, губы стиснуты. Он резко опускает поднятую правую руку. И в это же мгновение вспыхивает ослепительный свет, огромные серые клубы дыма, как бы распирая ложбину, с оглушительным грохотом обволакивают мост... Казалось, выросла над землёй гора из облаков самой причудливой формы. Не видно ни моста, ни танков, ни лейтенанта Березина.

...Лейтенант Угрюмов и политрук Георгиев стоят рядом, прислонившись к стене траншеи. Угрюмов подымается на носки, вытягивает шею и спрашивает Георгиева:

— Что вы там видите, товарищ политрук?

— Что? Всё прёт и прёт. Жмут, Петя, жмут, подлецы, пачками падают и снова пачками подымаются... Вон танки показались...

— Не по мне... не по моему росту вырыли эту проклятую траншею, — с досадой говорит Угрюмов, нагибаясь и подкладывая себе под ноги два пустых патронных ящика. И, взобравшись на них, добавляет: — Со вчерашнего дня их за собой таскаю. Эх, мать моя, и зачем ты меня таким мало-

рослым родила?! — с этими словами он становится рядом с Георгиевым.

— Не горюй, Петя. Рост — дело наживное. Ты у нас маленький, да удаленький.

— Ха-ха! Вот это здорово! Рост — дело наживное, вот так сказанул!

— Я правду говорю, Петя, помни мои слова, — смущённо бормочет Георгиев, поняв, что сказал нечто несурзное. — Через годика два ты, по крайней мере, вершка на два подрастёшь. Ты же ещё совсем молодой парень — тебе ещё расти да расти...

В это время рой пуль со свистом проносится над головами, и бойцы невольно пригибаются.

— Знаете, товарищ политрук, что я думаю?

— Не знаю. Но ты же командир! Принимай решение.

— Я думаю, что нам надо героизм проявить.

— Как?

— Вот видите: штук двадцать танков прямо на наши окопы прут? У нас у каждого по связке противотанковых гранат. Они очень тяжёлые: их дальше пяти-шести метров не бросишь. А мы подождём немного, и как только танки начнут гусеницами лапать брусстеры, швырнём связки под самое их брюхо. Это уж наверняка будет, товарищ политрук, ей-богу, расстрошим!

— Давай, Петя! Ты — справа, а я слева командовать и пример подавать.

— Давайте, товарищ политрук!

...Танки идут развёрнутым строем. Бойцы, притаившись в окопах, вставляют в гранаты крючковатые, толщиной с папиросную гильзу взрыватели. Вот первый танк с лязгом подполз к траншее — боец поднялся и бросил связку гранат. Под танком сверкнул взрыв. Танк перекатился через траншею, завертелся, остановился и запылал...

Итак за несколько минут — двадцать костров над траншеями. С флангов строчат и строчат наши пулемёты, прижимая к земле немецкую пехоту, идущую за танками.

На дне траншеи с запрокинутой головой, с детской улыбкой на лице лежит Пётр Угрюмов.

...Лейтенант Исламкулов, возвращаясь из штаба полка, по пути задержался в пищеблоке батальона, что стоит в лесу. Он сидит на ящике из-под продуктов и из котелка, принесённого поваром, ест щи.

— Товарищ лейтенант! Немцы за поляной, — докладывает подбежавший боец.

— В ружьё! — даёт команду Исламкулов, отставляя котелок.

Иногда бойцы разбирают винтовки, он выстраивает их и ведёт к опушке леса. Действительно, с противоположной опушки к поляне идут немецкие цепи в маскхалатах. Исламкулов расставляет людей в пяти-шести метрах друг от друга, за толстыми стволами деревьев, сам становится в центре, прислонившись к стволу ели. Когда немцы подходят к середине поляны, он командует:

— Огонь!

По этой команде гремит залп двадцати винтовок.

— Огонь!

Снова и снова залп.

Просочившиеся в тыл автоматчики противника частью уничтожены, частью рассеяны по лесу. Внезапный удар из тыла предотвращён.

...Впереди — лента железнодорожной насыпи. Она правильной дугой возвышается над горизонтом. Торчат несколько домов из красного кирпича под черепичными крышами. По сторонам этих домов вытянули свои шеи полосатые «журавли» шлабгаумов. У подъезда к железнодорожному полотну на столбиках висит прямоугольный жестяной лист, изрешечённый пулями и осколками: «Берегись поезда».

Это разъезд Дубосеково.

Траншеи, стрелковые ячейки запорошены снегом. В ячейках — бойцы в полушубках. Опираясь винтовками на брусстер окопа, они прицеливаются, стреляют; перезаряжая винтовки, дыханием согревают пальцы, обожжённые холодным металлом затвора, и снова прицеливаются, и снова нажимают спуск. Выстрел, выстрел... Позади раздаётся гул орудийных залпов. Впереди в самой гуще немецкой цепи вздымаются фонтаны взрывов, кто-то падает и больше не встаёт, кто-то бежит назад; в воздух летят каски, рукава, сапоги, штанины, нелепые полы шинелей...

Несколько танков, идущих впереди пехоты, завертелись волчком, обволакиваемые густым чёрным дымом, и, изуродованные, неподвижно застыли на месте...

Кузьмич дрожащей рукой положил книгу на столик рядом с кроватью и снял очки.

— Хорошо пишет этот Момыш-улы, правильно, — сказал старик. — Сразу видно, воевал человек. Эх, война-война... Сколько ж ты людей ухлопала...

Кряхтя, старик приподнялся, сев на кровати. Вытряхнув из пузырька таблетку, он положил её под язык, потом не спеша сунул ноги в мягкие тапочки и, слегка шаркая по полу, прошёл на кухню.

Подогрев чаю, старик снова долго и много курил, шуря от дыма слезящиеся глаза. Глядя в окно, ветеран вспомнил про войну, которая снилась ему до сих пор, правда, теперь не так часто, как в молодые годы. Разворотив его молодость, как попавший в дом снаряд, война перевернула всю жизнь Кузьмича, став для него новой точкой отсчёта с того самого момента, когда Молотов объявил по радио о том, что Германия напала на Советский Союз.

Во время выступления Молотова пятнадцатилетний Гордей отдыхал с одноклассниками на пляже на берегу Азовского моря в родном Таганроге. С той самой секунды всё стало мериться войной — жизнь, смерть, любовь, ненависть, верность, предательство, прошлое, настоящее и будущее... Всё.

Война стала для Кузьмича главной темой, вокруг которой вращались события, разговоры, мысли, воспоминания, люди, втянув в себя саму жизнь Кузьмича и его самого. Что бы после ни происходило потом — всё так или иначе возвращалось к войне. Даже на привычных праздниках кто-нибудь да говорил: «Помнишь, как было до войны?..» Война стала центром притяжения для всех, кого она коснулась своим пылающим крылом.

Кузьмич не раз благодарил судьбу за то, что остался жив, вернувшись домой всего с тремя ранениями. Многие так и остались в сырой земле, будучи даже не похороненными, ведь часто и хоронить-то было нечего. Немецкий танк жалости не знает. Начнёт на окопе крутиться — оставляет от солдат один фарш, перемешанный с землёй и ошмётками из растерзанного смертоносным железом обмундирования. Только грязно-розовые змеи человеческих кишок с обрывками одежды свисают с траков. Или угодит рядом с бойцом снаряд, рванёт — и нет человека, слышно лишь, как куски разорванного

осколками мяса тяжело шлёпаются о землю вместе с комьями развороченной земли.

Кузьмича, родившегося в 1925 году, судьба пощадит. Родись он на пару лет раньше, может, и не было бы его уже на белом свете. Из ста солдат 1923 года рождения, по статистике, в живых оставался всего один. Позже этот призыв назовут «погибшим годом».

Вспоминая прошлое, ветеран по сотому разу перелопачивал свою полную невзгод и лишений жизнь, вспыхнувшую, словно горстка пороха. Теперь от неё остались только семейные фотографии да воспоминания. «Почто живу? Сдохнуть бы поскорее, — тяжело вздохнув, сказал вслух Кузьмич. — Ни себе, ни людям».

Уже два года ветеран жил один, так и не смирившись с потерей любимой жены, которая подарила ему шестьдесят пять лет счастья. Любовь Павловна была для Кузьмича всем — и женой, и другом, и помощником, и смыслом жизни. Иногда, глядя на её портрет, висевший на стене в гостиной, старик разговаривал с ней как с живой. Любовь Павловна умерла рано утром, читая книгу. Оторвался тромб. Так и осталась с книжкой в руке и с каким-то удивлённым выражением лица...

Обычно утром Кузьмич подходил к портрету жены и говорил: «Доброе утро, Любушка! А я всё-то жив». Когда тоска брала старика за горло, он садился напротив портрета супруги и выговаривал ей свои печали, всё, что не давало ему покоя. Вот и в тот день он снова поговорил с ней, рассказав о том, что снова приснилась война, что болят суставы и ноет сердце. Уходя в свою комнату, Кузьмич с какой-то особенной тоской посмотрел в любимые глаза, сказав напоследок: «Любань, ты там меня жди. Скоро встретимся. Устал я тут один. Вот встречу День Победы — да забирай меня. Хватит небо коптить. Ладно, пойду полежу маленько».

В свои девяносто четыре года Кузьмич, называвший себя «мальчиком с тросточкой», ещё заботился о себе сам и выглядел довольно сносно для почти векового возраста. Сам варил, сам ходил в магазин, сам платил за коммуналку, сам убирался в квартире... Не так, конечно, как его Любушка, которая, даже будучи восьмидесятивосьмилетней старухой, умудрялась поддерживать в квартире удивительный порядок, но

пыль протереть да мусор веником собрать — это Кузьмичу было ещё вполне под силу. Не под силу было лишь жить в одиночестве. Если бы не Чеченская кампания, отнявшая у старика единственного сына Николая, возможно, Кузьмич был бы пободрее.

* * *

Николай, служивший в бригаде генерал-полковника Геннадия Трошева, погиб во время Второй Чеченской войны под Шатоем 22 февраля 2000 года, посмертно получил награду «За бои в Чечне».

В тот день всё пошло не так. Первые атаки российских войск на Шатой захлебнулись почти сразу. Боевикам даже удалось подбить наш вертолёт огневой поддержки «Ми-24». Тогда в бой вступили российская авиация и артиллерия.

«Бэтээр», на броне которого ехал подполковник Громов, подорвался на мощном управляемом фугасе, заложенном в самую середину горной дороги. Взрывной волной «бэтээр» на добрых пару метров подбросило в воздух со всеми, кто ехал на броне. Разорванную в клочья машину вместе с несколькими бойцами и подполковником, которому осколком оторвало правую ногу по самый копчик, бросило с высокого обрыва в воды бурного Аргуна. Взрывной волной подполковнику, упавшему на прибрежные камни, переломало почти все кости, до неузнаваемости изувечив острыми камнями лицо.

Хоронили Николая Громова в закрытом гробу. Любовь Павловна несколько дней пила успокоительные, а Кузьмич неделю заливал горе водкой, с утра до вечера не выпуская из рук фотоальбом со снимками сына.

Лишь за одно Кузьмич благодарил Бога — что его Николай умер мгновенно, без мучений. Это лучше, чем на всю оставшуюся жизнь остаться никому не нужным калекой, который каждый день будет заливать горе водкой, мечтая о том, чтобы поскорее умереть. Кузьмич не раз видел на войне, как от храбрых бойцов оставались жалкие ошметки в виде изуродованных обрубков без рук, ног и глаз. Не было дня, чтобы эти живые человеческие останки не молили сестричек в медсанбате сделать им смертельный укол или тихонько придушить подушкой...

* * *

Со смертью Николая жизнь для Кузьмича приобрела другой смысл. После похорон сына он всё свободное время стал уделять внукам, тратил на них почти всю свою ветеранскую пенсию. Невестка Галина много раз уговаривала Кузьмича переехать жить к ней, но старик каждый раз отнекивался, не желая быть обузой для молодых.

А когда не стало и жены, Кузьмич ещё больше поседел, сдал. Теперь одиночество старика временами скрашивали только внуки да невестка Галя... Когда раз в неделю, а когда и два приезжали они проведать деда. Он, как всегда, держался молодцом, но «мотор» всё чаще давал о себе знать. То ни с того ни с сего в галоп пустится, то едва стучит. То зажмёт так, что аж не вздохнуть, то в горле заколотится, будто кусок картохи застрял.

Одышка и сердечный кашель с каждым годом становились всё сильнее. Обычно кашель набрасывался на Кузьмича ближе к вечеру, не отпуская по часу и больше. Будто в горло кто вцеплялся. И сидеть — мука, и лечь нельзя — совсем не продохнуть. Так, бывало, и кыхал Кузьмич весь вечер, отвлекаясь телевизором, от которого старика уже воротило, — ничего путного не стало. Одни девки полуголые да реклама, чтоб ей пусто было! Иной раз включит старик «ящик» и тут же выключит, буркнув: «Срамота!»

Фильмы про войну Кузьмич не смотрел принципиально, особенно современные. Враньё одно и фантазии режиссёров. Навыдумывают, а люди потом верят, особенно молодые. Кто ж на войне во всём новеньком ходил? Разве что генералы да полковники с особистами. На обычных бойцах форма, может, и чистой была, как того устав армейский требовал, но выцветшей, трёпаной, пропотевшей, часто латаной-перелатанной. На сапоги без слёз смотреть нельзя было, а на некоторых бойцах и сапог-то толком не было — так, рваньё какое-то. А тут что ни фильм — на всех форма как со склада, аж хрустит. Смех один.

Да и лица у актёров незаправдашние — сытые, румяные, здоровые, без единой морщиночки. В войну таких лиц отродясь не было. Особенно у девушек. Смотришь и не веришь. Разве ж это советские солдаты? На войне солдату всё время

спать хотелось и есть... Оттого и лица у бойцов были худые и уставшие, часто запылённые, перепачканные, иногда небритые, с синими кругами под воспалёнными от вечного недосыпа глазами, с морщинками. Казалось, насмерть въелись в поры кожи придорожная пыль и гарь. Солдат должен быть с мозолями на руках, с землёй в ушах и с грязью под ногтями, а в современных фильмах все откормленные, чистенькие и холёные, как хряки для выставки на ВДНХ.

— Тоже мне, солдаты... Ишь, какие морды отъели, — обычно бухтел Кузьмич, краем глаза глядя какой-нибудь современный военный фильм, в котором ему всё было не по душе. — В настоящие бы вас окопы. Посидели б под арт-обстрелом три-пять дён — глядишь, и получились бы из вас советские бойцы, а так — чисто курортники.

Глянет Кузьмич на очередной такой «шедевр», плюнет и выключит телевизор. Была, правда, у старика пара-тройка любимых фильмов о войне — «Диверсант» и «В августе 44-го». Ну и, конечно, «Они сражались за Родину» с Шукшиным. Вот это был фильм! Как говорится, на все времена. А актёры какие были! Лапиков с Шукшиным, Тихонов с Бурковым, Мордюкова... Да тот же Никулин! Все на своём месте! А всё потому, что сами войны нюхнули — кто в окопах, а кто на заводе. Война и в тылу людям пятки крепко прижгла, оттого и играли советские актёры в военных фильмах на совесть, буквально живя в кадре. Каждый на съёмочной площадке что-то своё вспоминал — кто товарища убитого, кто родственников, немцами расстрелянных да сожжённых. Тогда фашисты всем советским людям кровниками стали, потому и фильмы получались настоящими...

* * *

Накануне из поликлиники к Кузьмичу снова приходила участковая Вера Сергеевна — молодая, лет пять как после института, но ответственная и внимательная. Опять смерила давление, много говорила про режим, покой, лекарств новых понавыписывала, наказала беречь себя, воздерживаться от физических нагрузок. Кузьмич лишь молча слушал свою юную собеседницу и послушно кивал седой головой.

Увидев с пару десятков окурков в пепельнице, Вера Сергеевна по-доброму отчитала ветерана:

— Гордей Кузьмич, надо бы вам курить прекращать... Это ведь всё на сердце сказывается...

— Так уж поздно бросать, доча. Всю жись дымлю.

— Я понимаю, Гордей Кузьмич. Понимаю. Но надо. Вы хотя бы поменьше старайтесь курить... не десять, а, скажем, пять сигареток... Вспомните, какая у вас в прошлом месяце ЭКГ плохая была. Надо побережься, дедушка. Вы нам живой нужны.

Крякнув, Кузьмич как-то обречённо махнул рукой:

— Я теперь только червякам нужён.

Вера Сергеевна покачала головой:

— Гордей Кузьмич, да разве такое можно говорить?!

Старик улыбнулся:

— А чё ж нельзя-то? Поди, нету такого закона, чтобы про червяков нельзя было говорить.

— Дедушка, всё равно нельзя так. Выбросьте вы эти дурные мысли из головы и займитесь своим здоровьем. Соли поменьше кушайте и с алко-голем поосторожнее. Алкоголь-то употребляете?

— Дак как все, дочка. Рюмочку, не больше.

Вера Сергеевна вздохнула:

— Знаю я эти ваши «рюмочки»... И физические нагрузки тоже надо уменьшить, а главное, старайтесь не переживать. И лекарства пейте вовремя.

Кузьмич лишь согласно кивал, обещая докторше вовремя пить таблетки, но на этот счёт у ветерана была своя философия. От болезней лекарства, может, и уберегут, а вот от воспоминаний да тревожных снов — вряд ли. Нет такой чудо-таблетки, которая бы от памяти о войне освобождала. Сколько лет прошло, а она продолжала сниться старику, порою вынуждая его не спать до самого утра. Вот и накануне прихода врача снова приснилась...

Не то Берлин, не то Сталинград был... Чёрт эту войну разберёт, проклятую! И будто снова рядовой Гордей Громов бежит в атаку, сжимая свой ППШ руками, почему-то почти до плеч испачканными кровью. Под ногами хрустит разбитое стекло, а справа кто-то стреляет и, срывая голос, кричит матом.

А потом опять был взрыв и — темнота. Как тогда, в январе 1944-го, под Бердичевым, когда за спиной у Гордея Громова, обдав жаром, взорвалась немецкая осколочная мина, выпущенная из тяжёлого 81-миллиметрового миномёта марки «Schwerer Granatwerfer 34». Гордея, спину и ноги которого пробili шесть осколков, вырубил ствол тополя, на который его бросило упругой взрывной волной.

В голове у рядового что-то хрустнуло. От сильного удара о дерево у Гордея, который едва не подавился собственными выбитыми зубами, сломались нос и нижняя челюсть, а сам он надолго отключился, получив тяжелейшее сотрясение мозга. Окровавленного, не подающего признаков жизни, его подобрали лишь два часа спустя. Почти месяц Гордей провалялся в госпитале, где врачи по кусочкам собирали его разлетевшуюся челюсть, а потом пару недель кормили своего пациента через трубочку, запрещая говорить.

На память от того ранения у Кузьмича на всю жизнь осталась сплюснутая переносица, периодические головные боли и тряпица с осколками.

* * *

Кузьмич проводил докторшу и, закулив, включил телевизор. По новостям снова показывали Украину. В тысячный раз обсуждали проблемы Донбасса, уже который год жившего в состоянии гражданской войны с Киевом, — с тех самых пор, как 24 ноября 2013 года на улицы Киева на многотысячный митинг вышли почти сто пятьдесят тысяч сторонников оппозиционных партий УДАР и «Батькивщина», лидеры которых устроили майдан, развязав гражданскую войну в стране. Диктор опять говорил о потерях на линии соприкосновения, об обстрелах посёлков Донбасса с украинской стороны, о гибели мирных жителей, о продолжающихся преследованиях ветеранов Великой Отечественной войны и нападениях националистов на тех, кто носит георгиевскую ленточку.

Поначалу, когда по новостям только-только пошли первые репортажи с кадрами горящих бойцов «Беркута», с убитыми защитниками «украинской демократии», с избиениями вете-

ранов Великой Отечественной, Кузьмичу, нервно кутившему перед экраном телевизора, не верилось. Да и как поверить! Чтобы на Украине, которую старик освобождал от фашистов, снова лилась кровь, чтобы там опять мелькали нацистские флаги, а с фронтовиков георгиевские ленточки да медали срывать начали, — быть такого не могло!

Глядя на разрушенные дома Донбасса, на плачущих матерей и стариков, Кузьмич вспоминал, как освобождал Украину от фашистов в 1944-м. «Может, ошибка какая или я сам чего-то недопонимаю по старости своей», — думал ветеран, с тревогой глядя в телевизор.

Когда старик первый раз увидел по новостям стрельбу и убитых на майдане в Киеве, подумал, что там новое кино снимают, а когда понял, что не кино это вовсе, слёг на пару дней. Тогда у Кузьмича впервые за несколько последних лет крепко прихватило сердце. Разве мог он думать в победном 45-м, что спустя семьдесят лет фашизм снова поднимет голову, да ещё на Украине?.. Тогда это казалось невозможным. Конечно, потом ещё долго пришлось бегать по лесам за бандеровцами, доставая их из схронов, но это была уже агония фашизма. По крайней мере, так казалось тогда.

Беспокойство Кузьмича было объяснимым. Война только для молодых — сплошное кино да игрушки компьютерные, а для тех, кто хоть раз в её нутре смердящем побывал, она на всю оставшуюся жизнь стала незаживающей раной, разъедающей кожу. «За Родину, за Сталина!» — это всё только в фильмах было. В жизни всё проще и страшнее. Война — это прежде всего убийство. Если не ты убьёшь, так тебя. Оттого про войну настоящие фронтовики ни говорить, ни думать не желали. Про что говорить? Как одни люди других на куски рвали? Про то, как кишки да мозги человечьи с гусениц танков соскребали, как в штаны со страху в рукопашной делали? Или про то, как во время немецкой артподготовки коммунисты, полжизни боровшиеся с религией, втихушку Богу молились, плюнув на партбилет, лишь бы живыми и некалечными домой вернуться?

Настоящая война не та, которую в кино показывают, — с криками «ура», с медалями, с песнями да плясками под гармошечку. Та для

дурачков, пороха не нюхавших. Настоящая — другая. Она вся в грязи и крови по самые ноздри, мертвечиной, порохом, потом да гарью пропахшая, белая от соли на гимнастёрках и ранней седины. В памяти Кузьмича навсегда остался однополчанин, который сошёл с ума, после того как в одном освобождённом от немцев селе увидел посаженных на кол советских медсестёр, за считанные минуты поседевших от боли, превосходящей человеческий разум.

Кузьмич не сошёл с ума — нервишки окрепче оказались, но спать не мог пару месяцев — всё сестрички наши, на кол насаженные, мерещились...

Чем больше ветеран вслушивался в новостные выпуски, тем больше понимал: беда на Украине. Из головы Кузьмича не шли разрушенные дома Донбасса и ветераны, которых за георгиевскую ленточку били по лицу киевские националисты.

Что они знали о войне — эти татуированные бритоголовые мальчишки с дикими взглядами, яростно вскидывающие руки со свастикой?.. Ни разу в жизни не ходившие в атаку, не смотревшие в дуло вражеского автомата, не хлебавшие солдатскую похлёбку, сдобренную кровью, землёй и потом, неделями не сидевшие под дождём и снегом в окопах, не падавшие в грязь и навоз при налётах вражеской авиации, не собиравшие по кускам разорванных бомбами и снарядами своих боевых товарищей, не выковыривавшие из себя штыком осколки?

Выключив телевизор, старик прилёг на кровать, сказав в никуда: «Как же это? Куда ж это мир-то катится? Чтоб фронтовика по лицу ударить — это последнее дело. Забыли войну, сытно жить стали, вот и получили припарочку...»

Ветеран закрыл глаза, вспомнив свой пехотный полк.

Словно в немом кино, перед внутренним взором Кузьмича стали проходить его боевые товарищи. Один за другим. Большинство из них давно были в земле, но кое-кто всё-то ждал своей очереди на небо, удивляясь собственной долгой жизни.

Вот снайпер Петро Рябушкин. Хороший был парень, гармонист-частушечник, каких только поискать. Бывало, как запоёт, аж

офицеры заслушивались. Жаль, до Победы не дожил Петро — убило его каким-то дурным, прилетевшим неведь откуда снарядом во время обеда в самый обычный июльский полдень, когда, казалось, на земле нет ни войны, ни смерти. Светило солнце. В чистом голубом небе пели невидимые жаворонки. Тёплый ветер гладил в полях травы и цветы. Было почти тихо. Где-то вдалеке на переднем крае обороны, обозначенном на горизонте далёкими клубами чёрного дыма, ухали тяжёлые орудия. Резервный полк, в котором оказался Гордей, приводил в порядок оружие и ждал приказа выдвигаться.

Петро хлебал рассольник, думая о том, сколько осталось до Берлина. Метрах в четырёх возле пустого ящика из-под снарядов, примостив на нём кусок зеркала и помазок в железной солдатской кружке, стоя на коленях, брился Гордей. Глядя в зеркало и смешно вытянув губы трубочкой, солдат тщательно выбривал суточную щетину. Одной рукой он оттягивал кожу под подбородком, а другой короткими небольшими движениями аккуратно срезал щетину опасной бритвой.

Вдруг, нарушив тишину, что-то тяжёлое с глухим стуком ударило в окоп в то самое место, где сидел снайпер. Рябушкин не почувствовал боли. Только руками взмахнул, будто крыльями, расплескав по стенкам окопа, вмиг забрызганных снайперской кровью, ещё тёплый рассольник. С лёгким шипением, похожим на резкий порыв ветра, смертоносный кусок железа, не разорвавшись, ушёл в стенку обвалившегося окопа, с хрустом оторвав Рябушкину его казачью курчавую голову.

По инерции однополчане Рябушкина прыгнули в разные стороны, ожидая взрыва. Гордей, за спиной которого произошёл несчастный случай, поначалу даже не понял, что случилось. Долго потом бойцы обсуждали этот нелепый случай.

— Вот ведь как бывает, — говорил вечером, дымя самокруткой, капитан Валеев, всё хотевший представить Рябушкина к награде. — Отстрелялся наш Петька. Видать, правду говорят: если есть судьба утонуть, не сгоришь...

Вот казах Бекнияз Абдиров — редкий знаток лошадей, заведовавший несколькими повозками

в полку. Уж какой конюх и знаток лошадей был! Как говорится, от Бога. Всё про лошадей знал. Часами мог о них рассказывать. Один был у него недостаток — по-русски говорил плохо, через слово понятно. Но бойцы всё равно понимали Бекнияз, восполнявшего недостаток знания русского красноречивыми жестами. Погиб Бекнияз, можно сказать, геройски. Во время вражеского авианалёта он пытался спасти лошадей, которых так и не успел увести в ближайший лесок, буквально разорванный очередью «мессера».

Вот медсестра Люся, в которую превлюблились, казалось, все её пациенты, включая офицеров и фронтовых врачей. Тоже погибла, закрывая собою во время налёта «юнкерсов» раненого...

* * *

Воспоминания Кузьмича прервал настойчивый звонок в прихожей.

— Кто там ещё? — пробухтел Кузьмич.

Кряхтя, старик встал с кровати. Звонок продолжал требовательно звенеть.

— Да иду уже, иду! — почти крикнул Кузьмич.

Фронтвик уже готов был шумнуть, думая, что это снова балуются соседские мальчишки, но, открыв дверь, на мгновение замер. На пороге стояла незнакомая женщина лет сорока приятной наружности с белыми как снег волосами. В руках у неё были пакет и прозрачный зонт, с которого на пол капала вода.

— Здравствуйте! Мне бы с Гордеем Кузьмичом Громовым увидеться...

— Ну, я Гордей Кузьмич.

— Очень приятно. Тогда я к вам.

— Ко мне? Вы из поликлиники? Или из соцзащиты? — с ноткой недоверия спросил старик, вглядываясь в лицо незнакомки.

— Ой! Совсем забыла представиться, — виновато сказала женщина и светло, обезоруживающе улыбнулась. — Меня зовут Нина Ивановна Полякова. Я писательница. Работаю над книгой о фронтовиках к 75-летию Великой Победы. Ваш адрес мне подсказали в городском совете ветеранов.

— А-а-а. Вон оно что! Так вы от Степан Евсеича?

— От него самого.

— Ну, раз такое дело, проходите.

Женщина старательно вытерла ноги о резиновый коврик перед дверью и осторожно, словно в музей, шагнула в квартиру, остановилась у порога.

Заметив нерешительность гостьи, Кузьмич подбодрил её:

— Чего ж вы не проходите?

— Да боюсь на капать у вас. Дождь на улице.

— Эка беда! — поспешил успокоить гостью Кузьмич. — Ну, и накапаете — ничего. Курточку свою скидавайте. Тут вот тапочки. А зонтик прям тут ставьте, у двери. Натечёт — и ладно. Вы пока в комнату проходите, а я чайку быстренько заварю.

— А я как раз к чаю вам гостинец принесла, — сказала женщина, протягивая ветерану пакет.

— Гостинец? — переспросил Кузьмич, с каким-то детским любопытством заглядывая в пакет.

— Это тортик. «Медовик».

— Ну, спасибо, дочка, — немного растерянно сказал Кузьмич. — Вы пока телевизор, что ль, поглядите. С пультом-то хоть умеете обращаться?

— Умею, дедушка, умею, — улыбнулась гостья. — Сейчас все телевизоры с пультами.

— Ну и хорошо, а я быстренько на стол накрою.

— Так, может, я вам помогу?

— Не беспокойтесь. Я сам. Я всё привык делать сам.

Женщина прошла в комнату. Пока старик гоношился на кухне, она внимательно рассматривала гостиную: здесь веяло старостью. Всё как у всех стариков Советского Союза. Ковёр на стене, дорожка на полу. Столик прикрыт кружевной скатёркой. Телевизор в углу. Потёртый комод. Шкаф с чайными сервизами, хрусталём и фарфоровыми статуэтками — оленятами, белочками и снеговиками.

Внимание женщины привлекли старые портреты на стене. «Интересно, сколько им лет? Пятьдесят, шестьдесят?..» — подумала она. В этих желтоватых портретах было что-то до боли знакомое. Такая же старинная фотообработка со штриховкой по краям, почти допотопная, немного простоватая обстановка в кадре, по-

желтевшая от времени бумага под стеклом в деревянных рамках. Примерно так же выглядели портреты её матери и отца в их доме в Макеевке. Они погибли в 2014-м. Сначала — мать, а через день — отец...

Гостя внимательно разглядывала старые фарфоровые статуэтки в шкафу, когда позади послышались шаги фронтовика и его старческий голос:

— Чай готов. Пойдёмте покушаем, а заодно и поговорим.

Женщина прошла на кухню за Кузьмичом, который заботливо усадил её за скромно накрытый стол:

— Присаживайтесь. Будем чай пить. С тортиком.

— Спасибо, Гордей Кузьмич.

— Забыл, звать-то вас как?

— Нина Ивановна. Да можно просто Нина. Я ещё молодая.

— Вы уж, Ниночка, простите, у меня деликатесов особых нет. Я один живу. Одному много не надо. Если бы знал, что придёте, мы бы с вами погуще стол собрали, а так — что уж есть...

— Гордей Кузьмич, что вы меня всё «вы» да «вы»? Как-то неудобно.

— Да я с малолетства привык людей незнакомых на «вы» называть. Советское воспитание, — Кузьмич смущённо улыбнулся.

— Какие ж мы с вами незнакомые? — возразила Нина. — Мы с вами уже очень даже знакомые. Так что зовите меня просто Нина и на «ты». Мне так проще будет. Я сама без деликатесов живу. Всё как у всех — от зарплаты до зарплаты, хороший стол только по большим праздникам. Жизнь такая стала. Да и в угощении ли дело? Для меня главное — что я с вами разговариваю, а чай всегда успеется.

— Это ты верно говоришь, дочка. Успеется. Но чай — это тоже хорошая штука. Мы на фронте только горячим чайком и спасались, особенно зимой да в дожди. Солдат на войне не только стреляет. Он больше копает да таскает, да пешедралом чешет. Почитай, от Москвы до самого Берлина советский солдат пёхом добрался. Вот так-то... Так что чаёк на войне — это вроде подарка. Помню, как мы его пили с ребятами. Руками кружку обнимешь, как женщину любимую, и тянешь по глоточ-

ку, а если кто чабрецу с сахарком да сальца доставал, так это вообще праздник был. Где чай, там и разговоры, и даже песни. Не было чаю — кипяточком спасались. Главное, чтобы внутри тепло было. Кишки прогреешь — и можно дальше воевать. Окоп был нашим вторым домом. Бывало, в нём неделями приходилось сидеть. Тут тебе и политсобрания проводили, и дни рождения справляли, и спали, и... — Кузьмич осёкся, чуть не сказав лишнего. — Короче говоря, в туалет в окопе ходили.

— Как — в окоп? — от удивления округлила глаза Нина.

Кузьмич вздохнул:

— Как-как... Вот так! Эх, дочка... Молодая ты ещё. Молодая.

— Так что, у вас там туалета совсем не было?

— Какой туалет, ежели приходилось каждый день то наступать, то отступать? Не до этого. Где приспичило — там и туалет. — Старый фронтовик снова закурил. — Об том мало кто говорил и писал, а уж в фильмах этого и не увидишь... А это была, скажу я тебе, дочка, проблема. Туалет — это ведь самый замечательный опознавательный знак для врага: вот, мол, тут сидят советские бойцы. Поэтому по нужде ползали из окопов то в лесок, то в ямку. — Кузьмич стряхнул пепел, поставив руку на локоть. — С точки зрения чистоты, оно, может, и нехорошо было, но война свои законы диктует. Вот и приходилось то из окопа вылезать, то в конец окопа бегать. Не всегда, конечно, а когда немец шибко прижимал, не давая головы поднять. Кто побрезгливее был, ползали из окопа в сторонку. Ну, а когда бой начинался, тут уж никуда не побежишь — надо в немца стрелять, а если в этот момент приспичило, или терпи, или в штаны делай.

— А женщины? Ну-у... тоже в окоп?.. — недоумённо спросила Нина.

— Да ну... В окоп... — Кузьмич отмахнулся. — Женщин вообще на «передок» старались никогда не брать. Они поближе к медсанчасти были да к прачечной. Или кашеварили... Чё им в окопе-то делать? Вшей кормить? Война — дело мужичье. Вообще, дочка, я тебе так скажу: война — это окопы, походы и грязь. На войне стреляли не так часто, как это в кино показывают: «ура, вперёд, в атаку!» На войне в основном была физическая работа. У каждого кожа на руках от лопат не по

разу с ладошек чулком слазила. Пешедралом чапали, окопы копали, ящики с боеприпасами грузили да пушки на себе по лужам тянули вместе с конями. Так и воевали по самую шею в грязи. Ты ж по дороге не один идёшь, перед тобой техники пруд пруди. Она пройдёт, всё своими колёсами да гусеницами расквасит, потом всё это под ногами чавкает, хлопает. Бывало, не идёшь по дороге, а плывёшь. Вот представь: несколько дён держим оборону — никуда не убежать. Умри, а ни шагу назад не сделай: приказ! Вот и сидишь в окопе, а с неба дождь затяжной льёт. За пару часов на дне по щиколотку воды вперемешку с грязью, а за сутки чуть не по колено. Вот и ходишь по окопу на полусогнутых по этой жиже. Конечно, старались воду вычерпывать — где касками, где ведрами. Не будешь же в воде плавать. Как-то надо приспособливаться. В окопе и покушать надо, и поспать, и оружие в порядок привести, и подшиться, и письмишко родным черкнуть... Вот и старались выкручиваться кто как мог. На дно окопа укладывали ветки, обрубки стволов, доски от ящиков из-под снарядов. Ну, а отдыхать приходилось в норе. Выкапывали себе в стенке окопа... как бы тебе сказать... углубления, что ли... так, чтобы окоп не обсыпался. И вот в этой самой норке в передышке между перестрелками и отлёживались. А всё равно ж сыро, зябко... У многих ноги начинали гнить от влаги. Иной раз мы даже мечтали, чтобы ранило, лишь бы в госпитале на чистой постели полежать да выпасться. На войне спать хотелось и есть. Иной раз идёшь-идёшь, да так в строю и заснёшь.

— И что? Вы так прямо сонные и шли?

— Так и шли сонные. А чё делать-то? Есть приказ идти, а спать приказа нету. Вот и идёшь, носом ключёшь.

— Гордей Кузьмич, — перевела разговор Нина на другую тему, — а было так, что на фронте бойцы выпивали?

Кузьмич поначалу как-то замаялся, но потом, плюнув на страхи, сказал как есть:

— Да бывало, конечно! Шас уж можно сказать. Но это нечасто было, да и то между боями, во время передышки. Все ж на нервах были. Война — штука серьёзная. Другой раз после атаки многие сами не в себе были, вроде как маленько тронутые умом. Морда в крови, руки в крови, гимнастёрки в крови с человеческими

мозгами, глаза как у сумасшедшего. Кого резал, стрелял — и не помнишь. Некоторых после атаки по часу колотило, а были и такие, кто потом по несколько часов не разговаривали. Молчали и курили... Со стороны только кажется, что человека убить легко. На это тоже решиться надо, особенно когда это в первый раз. С неба оно, может, и легко врага крушить, когда в глаза ему не смотришь. Сбросил бомбы и полетел на свой аэродром весь чистенький. Или пульнул из пушки вёрст за пять... Так чё не воевать! А в пехоте всё страшнее, поэтому на войне люди седыми в двадцать лет становились. Такого иногда нагладишься, что потом спать не получалось — одни мертвяки перед глазами, а спиртик хоть немножко, но напряг всё равно снимал. Спирт и по приказу в армии положен был. Недолго, правда. Потом это дело потихоньку прикрыли. Был у меня друг один — моряк Петька Сомов. Мы с ним после войны познакомились. И вот он рассказывал, что у него на корабле у трапа стояла канистра со спиртом и кружка. Так вот к этому спирту никто не притрагивался. Пожалуйста, пей, но никто не пил. Редко-редко кто глоточек сделает — и всё. Выпивали иногда по несколько глотков, когда с рукопашной приходили, чтобы просто нервы успокоить. Ты, дочка, только не подумай ничего, а то получится, что на фронте одни алкаши воевали.

— Да что вы, Гордей Кузьмич! Я ж не маленькая. Понимаю. Война есть война. Я хоть и не историк, но о войне много чего знаю, да и дедушка мне кое-что успел рассказать. Так что не переживайте.

— Ну, и хорошо, что всё правильно понимаешь. Разве с пьяными-то солдатами навоюешь? Вот и грелись чайком. Война, война... Сколь она беды понаделала! А сейчас, дочка, всё у людей есть. Живи себе, горя не зная. Телевизоры, машины дорогие, телефоны... У нас, помню, телефон был в сельсовете в Петрушино... Так к нему, кроме председателя с милиционером, никто и подойти не смел, а теперь у каждого в кармане тренькает. Звони хоть с утра до ночи...

— Да, сейчас другое время, — согласилась Нина, довольная тем, что вот так просто начался её разговор с ветераном.

Слушая Кузьмича, Нина ловила каждое его слово. Сейчас перед ней был не просто старик.

В его образе перед ней было само время, которое уже почти безвозвратно ушло в прошлое. Пройдёт год-два, а может, и месяц, и этого доброго седого деда с выцветшими от долгой жизни глазами уже не будет. Уйдёт ещё один солдат Советской армии, победившей фашизм.

Нина незаметно включила на телефоне диктофон. В другой ситуации без спросу она бы не решилась на такой шаг, но в тот момент не корила себя: это был единственный способ сохранить живую речь фронтовика. Да и над книгой с диктофонной записью гораздо легче работать — ничего не упустишь.

Нина слушала Кузьмича и думала о своей будущей книге, совершенно забыв о чае. Заметив это, ветеран переключился на свою гостью:

— А ты чего ж не кушаешь-то, дочка? Поди, остыло всё.

— Да не знаю, — улыбнулась Нина. — Вас как-то заслушалась.

— Вот ёлки-палки... Да я могу хоть два часа говорить. Ты будь как дома. Что на столе есть — всё лопай. Вот колбаска, маслице, тортик...

— Спасибо, Гордей Кузьмич! Просто вы так интересно рассказываете... Я будто сама в окопе рядом с вами оказалась.

Седые брови Кузьмича вмиг сошлись у переносицы.

— Да что ты! Не дай бог эти окопы, дочка! В них пол-России осталось. Сколь ещё безымянных солдат в земле лежит. Кого-то до сих пор ждут... Дочка, я вот спросить тебя хотел. Ты же вроде молодая... Сколь годов-то тебе?

— Сорок два.

— Сорок два... Во внуки мне годишься. Как же так получилось, что ты седая-то вся?

Нина почувствовала, как у неё заколотилось сердце. Перед её внутренним взором пошли кровавые картины — горящие дома и машины, взрывы, свист мин, крики раненых, плач детей, разорванные осколками люди, погибшие сын, дочь и муж...

— Не знаю, — решила уйти от прямого ответа женщина.

— Не умеешь ты врать, дочка. Ну, не хочешь говорить, не неволю.

— Вы правы. Врать я не умею, — как-то по-детски сказала Нина, решившаяся открыть фронтовику свою душу. — Вот вы сказали, что

не дай бог окопы, а я в них уже побывала.

— Это когда же? — удивлённо вскинул брови старик.

— В 2014-м.

— Воевала, что ль?

— Не совсем, но можно и так сказать. Я тогда с мужем и детьми поехала из Донецка к родителям мужа в Горловку.

— Так ты что ж, получается, с Украины будешь?

— С неё, — с какой-то отрешённостью и внутренней болью ответила Нина. — Вы, наверное, уже слышали, что у нас там творится?

— Да как не слышать! Слыхал, конечно. По всем каналам только про Украину и говорят.

Кузьмич нахмурил брови и достал из пачки сигарету. Чиркнув, сломал спичку, потом — вторую. Закурил только с третьего раза.

— Вот же руки-крюки стали, — недовольно заворчал ветеран. — Нельзя мне волноваться, а как не волноваться, когда такое беззаконие делается! Ты, кстати, не куришь?

— Нет.

— Вот и молодец. А я вот всё никак бросить не могу. Докторша запрещает, нельзя, мол, сердце у меня, мол, слабое. Да я бы сто раз бросил, а как? Всю жись дымлю. Да ну их, этих докторов! — Кузьмич махнул рукой. — Что куришь, что не куришь, всё одно домовиной закончится... А закуришь — вроде как и полегче. Я в сторону дымить буду, чтоб ты махрой моей не дышала.

Кузьмич выдохнул в сторону облачко дыма, разогнав его рукой.

— Да вы курите-курите, — поспешила успокоить ветерана Нина. — Я привычная — у меня муж всё время курил.

— А... Ну тогда другое дело... Беда у вас, конечно, страшная, дочка. Я поначалу-то, как только про Украину по телевизору начали говорить, и не разобрался толком. Даже не знал, как к этому относиться. Гляжу в телевизор и не знаю, как быть, — то ли верить, то ли не верить. Потом кое-как смикнутил, что к чему. Одного понять не могу: кому всё это понадобилось? Понятно, что это политика... Куда без неё? Но власть-то всё равно должна маленько соображать. Вот ты молодая, образованная, раз книжки пишешь. Ну вот скажи ты мне, старику: какая такая польза от войны? Кому она нужна?

Олигархам этим, что ли? Так они с населения деньги свои имеют. Для них война — это убыток, а не прибыль. Так, по-моему, должно быть. Считаю, вся экономика под откос. Сколь надо денег, чтобы разрушенное заново отстроить! А сколь раненых с убитыми! А инвалидов сколь! Это ж каждому надо платить пенсию, на лекарства бесплатные, на пособия всякие тратиться надо. Ладно, мужики на войне гибнут. Мужик на то и рождается, чтобы в бою голову свою сложить, а детишек-то почто в расход? Лупят по ним ракетами, минами... На кой? Какие ж это «террористы» и «сепаратисты»? Детишек мне жалейте всего. Я уж и телевизор-то включать боюсь — снова взрывы, убийства... Потом снится всё это. Вот каких делов ваша власть понаделала.

— Не говорите так больше, Гордей Кузьмич, — каким-то металлическим голосом сказала, гневно блеснув глазами, Нина. — Не наша это власть! И не была никогда нашей. Если бы эта власть наша была, она бы приказы мирных людей обстреливать «Градами» не давала.

— Прости, дочка! Прости меня, дурака старого! — залепетал Кузьмич, положив свою сухую руку на руку Нины. — Я не хотел. Вырвалось.

— Знаю, Гордей Кузьмич, поэтому не обижаюсь. Просто как-то всё сразу вспомнилось... — Нина погладила ветерана по руке. — За что мне на вас обижаться? За то, что в сорок пятом страну от фашистов спасли? Нет, дедушка. Это вы на нас обижаться должны, что мы мало для вас, ветеранов, делаем. Можно сказать, ничего. Если бы мы про ваш подвиг не забыли, фашизм бы не появился снова. А мы забыли. Увлеклись Западом, свободами всякими, вот и выросло поколение моральных уродов. Мы вашему поколению по гроб жизни обязаны. Если бы не вы, и Советского Союза бы не было, и нас. Ничего, Гордей Кузьмич, прорвёмся. Придёт время — и всю эту сволоту, которая кровью Донбасс залила, будут судить по всей строгости законов. Всех их ждёт справедливый народный суд. Вот увидите. Они за всё ответят, за каждую отнятую жизнь.

— Это ты верно говоришь... Дочка, ты пей чай-то. Остыл уж, небось. Дай-ка я тебе горяченького плесну.

Кузьмич трясущимися руками аккуратно долил гостю кипятку, продолжив расспрос:

— Ты сказала, что в Горловку поехала. Чего там у тебя случилось-то? Ты не бойся, я никому не расскажу. А тебе выговориться надо, раз уж пошёл у нас с тобой такой невесёлый разговор...

Нина тяжело выдохнула и с трудом продолжила:

— Может, вы и правы... В общем, захотели мы у родителей мужа погостить в отпуске. Это было в июле 2014-го. Вернее, это муж захотел. Я ему говорила, что там небезопасно, что лучше нам с детьми в Донецке остаться, но он настоял, сказал, что если есть судьба умереть, то умрёшь где угодно. Хотел уговорить родителей переехать в Донецк, а заодно и внуков им показать, если переезжать откажутся. У мужа родители старенькие. У отца — астма, у матери — сердце большое.

Женщина на какое-то время замолчала. Было видно, что ей тяжело говорить. Не заметить это Кузьмич не смог:

— Дочка, если тебе так тяжело всё это вспоминать, тогда давай эту тему закроем. Ты ж за другим ко мне пришла.

— Нет, Гордей Кузьмич. Сама чувствую, что надо выговориться, раз уж у нас с вами так разговор повернулся. Душит меня всё это. Сидит под сердцем. А о вашей жизни мы ещё поговорим. Я же к вам не на полчаса пришла.

Кузьмич затих, не смея нарушить хрупкую атмосферу неожиданной исповеди. Нина отхлебнула чаю и продолжила:

— Мы к тому времени уже знали о том, что в Киеве майдан был, что там людей поубивали... Знали, что в Одессе в Доме профсоюзов людей пожгли, что вёсэушники на Луганск бомбы сбросили. По новостям то и дело говорили о том, что вёсэушники со стороны Дзержинска лупят по блокпостам в Авдеевке, по Маринке, Пескам.

Но мужу надо было родителей повидать... Всю дорогу я ехала с тяжёлым сердцем. Помню, мысль была назойливая, что это наша последняя поездка... Муж всю дорогу тоже переживал за родителей. Приехали в Горловку. Старики нас встретили. Обрадовались, конечно. Стол закатили по случаю нашего приезда. Вечером посидели хорошо, песни попели, фотографии посмотрели новые. Всё было относительно спокойно. Ино-

гда мы слышали, как где-то стреляли, но были уверены, что до нас война не доберётся, на наших надеялись. Прошло два дня. Муж с детьми пошёл погулять в центр Горловки, а я осталась дома пирожки печь, но в тот день на сердце как-то беспокойно было. Всё вроде бы хорошо, а места себе найти не могу. Слёзы давай ни с того ни с сего катиться... — Нина вытерла мокрые глаза и с трудом продолжила: — Помню, на стул села, сижу и реву как дура. Меня свекровь спрашивает: «Ниночка, что случилось?» А я сказать ничего не могу, слёзы ручьём катятся и комок в горле. Взяла я себя в руки кое-как и занялась стряпнёй, а она, как назло, не получается. Тесто не заводится, всё из рук валится... Проходит сколько-то времени, слышу, какой-то шум за окном начался: не то хлопки, не то раскаты какие-то непонятные. Я сначала подумала, что это гром. В окно глянула: небо чистое. Потом гляжу: в центре сразу в нескольких местах над домами белый дым пошёл, и где-то далеко заработали сигнализации у машин. Давай я мужу звонить, а он не отвечает. Всю жизнь буду помнить эти гудки. Мне показалось, они несколько лет длились... Короче говоря, схватила я куртку и прямо в тапках вылетела из дома. Надо бежать, а куда — не знаю. Интуитивно побежала на дым. Минут через двадцать я в сквере была, а там уже толпы людей, какая-то паника у всех, кто-то кричит, плачет. Всё разбито, разломано, перевёрнуто. Кругом ветки с листвой валяются, деревья напололам переломленные. Перед домами — стекло разбитое и обломки кирпичей. В стене дома рядом со сквером на втором или на третьем этаже, сейчас уж и не помню точно, огромные проломы то ли от снарядов, то ли от ракет. Вот тогда я в первый раз убитых людей увидела. Уж сколько времени прошло, а всё забыть их не могу. Помню убитую мать с маленькой дочкой. Как держала дочку на руках, так и умерла с ней в обнимку. Женщина совсем молоденькая, лет двадцати, наверное. Красивая такая, худенькая... Ей ногу осколком перебило, а девочку ранило — куда, я не заметила. Лица у них, помню, белые-белые были, а сами спокойные, будто заснули. Только гарь на коже и волосы обожжённые. Я у людей спрашиваю, что случилось, а мне говорят: «Украинские военные «Градами» ударили». Тут у меня ноги ватными

сделались. Я сразу поняла, что с моими — беда. Побежала искать их, а сама молюсь: «Только бы живые были!»

Не помню, сколько пробежала. Пока своих искала, то и дело на убитых натыкалась. Смотрю — не мои, и дальше бегу. Потом гляжу: люди на дороге суетятся, склонились над кем-то. Я — к ним. Ну, и увидела своих. Их всех сразу убило. Мужу руку оторвало, Ване голову пробило, а Ксюшке — грудь и шею. Везде кровь... Увидела я всё это и кинулась к ним. Что-то кричала, а что — не помню. Ксюшку на руки захотела взять, а она как большая кукла — обмякшая, белая и неживая. Ну, я и отключилась. Пришла в себя, а надо мной доктор склонился с ваткой. Я встать хочу, а он меня держит и уговаривает: «Вам полежать надо. У вас обморок случился».

Я ему говорю: «Мне к детям надо и к мужу!» А он: «Крепитесь. Они все погибли».

И я снова отключилась. Как-то они меня в тот день откачали. Отвезли в больницу. Пролёжала я под капельницей часа три. Психолог со мной почти час говорила, а уже поздним вечером меня домой на скорой помощи привезли. Врать я не умею, поэтому родителям сразу всё рассказала. У свекрови случился сердечный приступ, у тестя дыхалку пережало. Я неотложку вызвала, а сама валерьянку стаканами пью. Врачи приехали, давай стариков откачивать. Мне фельдшер говорит: «Что у вас стряслось?» Я ему всё рассказала. Он хоть и молоденький, но заботливый попался. Выслушал меня внимательно и говорит: «Вам поспать надо, иначе может быть нервный срыв». Проводила я врачей, а спать не могу. Какой тут сон... Но под утро меня как срезало. Вижу мужа, детей. Радостные, просветлённые какие-то. Стоят передо мной, за руки держатся... Муж говорит: «Нина, ты не плачь по нам. Нам здесь хорошо». Я проснулась и — в ванную. В зеркало гляжу: а я вся седая...

Это был один из самых сильных обстрелов Горловки, о котором мир узнает чуть позже из репортажа военкора Антона Степаненко: «Городок Горловка оказался на пути украинской армии к Донецку — военные освобождают эти места от «сепаратистов», как в Киеве называют

ополченцев, с безопасного для себя расстояния реактивными снарядами и артиллерией. Погибшая молодая семья, по киевской логике, сама виновата: раз не уехали — значит, пособники сепаратистов, включая ребёнка. В результате только одного ракетного удара по центру Горловки погибли до тридцати человек. «Освободители» из Киева разрушили в Горловке жилые дома, здания роддома, стоматологии, наркологии и прокуратуры. Мощный удар был нанесён и по крупнейшему железнодорожному узлу Украины — Дебальцево. По данным ополченцев, пострадало здание больницы...»

...Вспомнив о том жутком дне, Нина, жизнь которой перевернулась, потеряв смысл, закрыла лицо руками и зарыдала. Кузьмич поднялся и, подойдя к женщине, по-отечески обнял её, глядя по голове:

— Поплачь, поплачь, дочка. По себе знаю — помогает.

Старый солдат знал, что только слёзы могут принести хоть какое-то облегчение в трудную минуту. Сам не раз плакал, когда видел смерть друзей и однополчан. Первый раз Кузьмич столкнулся со смертью в октябре 1941 года во время оккупации германскими войсками родного города Таганрога.

* * *

Немцы ворвались в город в пятницу, 17 октября 1941 года, дерзко, неожиданно и стремительно. Горожане верили, что советские солдаты не пропустят фашиста, и не успели ничего сообразить. Оккупанты заняли Таганрог, войдя в него через мыс. Это было то самое место, где стояли суда Азовской флотилии. С высокого обрыва от маяка несколько немецких танков открыли огонь по четырём катерам Севастопольского военно-морского училища и канонеркам «Кренкель» и «Ростов-Дон», эвакуировавшим в это время женщин и детей.

Застигнутые врасплох экипажи катеров стали отводить их от берега. Несколько катеров загорелись и пошли на дно. На одном из них был директор Дворца пионеров Семён Морозов, спустя время он станет создателем таганрогской антифашистской организации. В тот день Мо-

розову, катер которого был подбит и затоплен немцами, удастся чудом спастись — он доплывёт до берега и вернётся домой, чтобы начать борьбу с фашистами.

За несколько дней до этого советские войска безуспешно пытались удержать на подступах к городу, на линии Петрушино — Марцево — Вареновка, отборные части германских войск, среди которых были 60-я мотодивизия, 13-я, 14-я и 16-я танковые дивизии, а также две отборные мотодивизии СС «Адольф Гитлер» и «Викинг». Под натиском немцев, потерявших в тяжёлых боях за Таганрог ранеными и убитыми тридцать пять тысяч солдат и офицеров, советские войска были вынуждены оставить позиции и отступить в сторону Ростова.

В тот день Гордей шёл от тётки домой по улице Шевченко с тяжёлым рюкзаком, набитым мясом. Это был второй «рейс» мальчишки, и радости его не было предела. Гордей уже рисовал в своём воображении вкусные обед и ужин — мать наверняка накрутит фарша и сделает суп с фрикадельками или котлеты... Гордей мысленно благодарил тётку, которая была ему как вторая мать. Софья уже лет пять как вдовствовала: похоронила помершего от инсульта мужа. Проводив на фронт двух сыновей, она теперь жила одна, а время от времени забегала к матери Гордея по-бабьи посекретничать.

Накануне поздно вечером Софья пришла к сестре с неожиданной просьбой.

— Здорово, Валентина! Я к тебе на минутку. Пусть завтра Гордейка ко мне с рюкзаком забежит. Да побольше рюкзак-то дай. Я вам гостинца отправлю.

— Какого?

— Узнаешь.

— Не тани душу, Соня. Говори давай!

Помявшись, Софья как бы нехотя сказала:

— Да мяса я вам хочу отправить...

— Какого?

— Какого-какого? Ну, не собачьего же! Зорькиного.

— Да ты Зорьку, что ль, под нож пустила? Вот дурёха! Ты зачем же кормилицу извела?

— А ты не кипятись, Валентина, а головой подумай. Мало ли чё будет. Время нынче неспокойное. Того и гляди немец в город войдёт.

— Типун тебе на язык, Софья! Ерунду всякую мелешь! Немцы у неё войдут... А наши-то на что?

— А то ты сама слепая-глухая! Вон как бабахает, аж стёкла дребезжат, и каждый день всё ближе и ближе. Ухлопает меня бомбой, так хоть что-то вам от меня достанется. Лучше уж вам Зорьку отдать, чем немцу проклятому. Говорю, берите — значит, берите! Мне одной много не надо, а тебе ещё детей растить. Ладно, побегу я.

Уже в дверях Валентина крепко обняла сестру:

— Спасибо, Соня. Век благодарить тебя буду.

— А!.. — выбегая в сени, бросила через плечо Софья. — Зорьку мою благодарите!

...В серой кепке, в отцовском пиджаке и брюках, заправленных в кирзовые сапоги, Гордей со стороны выглядел почти взрослым мужчиной. Только немного худощавым. Росту бы сантиметров десять — и был бы видом как рабочий с судостроительного завода.

Стараясь не привлекать к себе внимания, остерегаясь, что кто-нибудь отнимет невиданный по военным голодным временам подарок, мальчишка то шёл, то бежал домой, иногда поправляя на спине тяжёлый рюкзак.

Улица, по которой шли редкие прохожие, была почти пустой, если не считать нескольких бабушек, сидевших у домов на скамейках. В городе, на подступах к которому всё сильнее гремели бои, уже несколько дней полным ходом шла эвакуация заводов и населения.

По указанию местной парторганизации большинство горожан участвовало в запланированных мероприятиях. Одни были заняты на рытье противотанковых рвов в местах вероятного появления немецких танков в районах сёл Николаевка, Гаевка, Мелентьево и Троицкое. Другие устанавливали «ежи». Третьи, пополнив ряды народного ополчения и истребительных батальонов, готовились к отражению возможной атаки немцев на Таганрог. После работы на городских предприятиях и в учреждениях трижды в неделю они занимались военной подготовкой, участвуя в полевых сборах в районе Западного и Северного посёлков, где военнослужащие Таганрогского гарнизона

учили их метать гранаты, стрелять и преодолевать препятствия.

Немцы были прекрасно осведомлены о подготовке Таганрога к осаде. Для подавления боевого духа горожан они использовали и психологические способы. Однажды на головы таганрожцев, занятых на рытье противотанковых рвов, с немецкого самолёта, со страшным рёвом зашедшего на людей, посыпались листовки с типографским текстом: «Милые дамочки, не ройте нам ямочки, всё равно наши таночки перейдут ваши ямочки».

По возрасту Гордея не задействовали на рытье окопов. К этому делу привлекать будут практически всех старшекласников Таганрога. В грузовиках их доставляли к месту, расквартировывали по домам, где им предстояло жить до окончания работ. Рытьё рвов — труд тяжкий. Весь день — под открытым небом. Норма — десять кубометров на человека в день. Обед — по графику, а дальше — снова рытьё. Ребята копали буквально до кровавых мозолей, не щадя себя. Каждый понимал: пропустить фашистов нельзя, если немцы пройдут в город, то не пощадят никого.

В условиях максимальной приближённости к передовой людьми нередко овладевала паника и безответственность, что неминуемо сказывалось на укладе прифронтовой жизни таганрожцев, в том числе в военной подготовке бойцов народного ополчения.

Из протокола заседания бюро Ростовского областного комитета ВКП(б) от 15.09.1941 года:

«...В Таганрогской организации отсутствуют учётные данные о количестве подавших заявления в народное ополчение и охваченных военным обучением. В рядах народного ополчения числится только 40% коммунистов. Явка на военные занятия низкая, учёт явки организован плохо.

Разъяснить первому секретарю т. Решетняку, что в настоящий момент, когда враг находится на Днепре, особенно важно мобилизовать рабочий класс на подготовку самообороны городов. Пример обороны Ленинграда, Киева, Одессы должен стать образцом для всех городов. Коллектив таганрогских рабочих — это целая армия, которая может в случае необходимости дать мощный отпор врагу, но надо, чтобы он был к этому заранее подготовлен и обучен.

По-видимому, в Таганрогском и Батайском горкомах партии этого не поняли. Ход Отечественной войны показывает неполную возможность держать оборону длительное время, изматывать силы противника до истощения силами ополчения. В противном случае работа с народным ополчением не стояла бы на том уровне, как это имеет место. Учебный процесс в подразделениях народного ополчения организован плохо. Учебное время тратится на шагистику и словесность; такие виды подготовки, как штыковой бой, метание гранат и бутылок с зажигательной смесью, метание связок гранат по танкам, стрельба из мелкокалиберных винтовок внимание в учёбе не занимают. Аппараты городских и районных советов Осоавиахима работниками, знающими военное дело, не укомплектованы.

Обязать ГК ВКП(б) немедленно организационно укрепить и улучшить военное обучение в подразделениях народного ополчения. Командировать в Таганрог т. Хислевского для наведения порядка в работе народного ополчения, что особенно важно в настоящий момент».

Согласно Постановлению СНК СССР «О всеобщей обязательной подготовке населения к противовоздушной обороне», всё население от шестнадцати до шестидесяти лет в обязательном порядке проходило курсы по борьбе с зажигательными бомбами и тушению пожаров. В областной газете «Молот» регулярно публиковались статьи, посвящённые использованию противогазов, светомаскировке, способам тушения зажигательных бомб, тонкостям обустройства бомбоубежищ и щелей.

Всё указывало на то, что идет подготовка к возможной оккупации Таганрога. Несмотря на это, многие таганрожцы, по-прежнему верившие в то, что Красная армия и товарищ Сталин не пустят немцев в город, оставались в городе, решив положиться на судьбу. Еще теплилась надежда, что беда обойдёт стороной их «маленький рай», летом заполненный цветами, овощами и фруктами, рыбой и прочими дарами Азовского моря.

Явной паники в городе не было, но чем ближе подходил немец, тем очевиднее становились признаки безвластия, малодушия и откровенного мародёрства. По городу сновали подводы, автомобили и грузовики «ЗИС-5», доверху

заполненные вещами и мебелью. В некоторых машинах лежали целые мешки с шоколадными конфетами «Парашют», которые производились на местной кондитерской фабрике. Куда-то бежали люди с сумками, тюками и чемоданами, за руку тянули плачущих детей. В порту случился пожар, на заводе — взрыв. Тем, кто решился покинуть город, уехать было непросто: поезда, баржи шли переполненные.

В день, когда немцы вошли в Таганрог, в городе начался хаос, о котором через много лет в своих воспоминаниях на страницах альманаха «Вехи Таганрога» расскажет очевидец тех событий, ветеран труда О. Б. Кудрявый:

«Второй день в городе было безвластие. Ещё вчера кое-где попадались одинокие милиционеры, а сегодня и они исчезли с улиц города. Закрылись учреждения, не работали предприятия, перестали ходить трамваи. Эхом отдавалась канонада. То ли пушки стреляли, то ли что-то взрывали.

В эти дни разговоры шли только о немцах, которые нажимают, а наши отчаянно сопротивляются. Жители, видя такое дело, принялись громить и растаскивать магазины, запасаясь товарами и продуктами на «чёрный день». Кто-то тащил тюки мануфактуры, кто-то — авоськи, набитые консервными банками, крупами, сухарями, какими-то непонятными пакетами и коробками. Я с товарищами бегал от магазина к магазину в надежде чем-нибудь разжиться. Но всё было тщетно: там, где прошли взрослые, детям делать было нечего.

Но вот по дороге нам попался знакомый парень, который сказал, что в цеху обувной фабрики, находящемся в Мечниковском переулке, осталось много обуви. И мы поспешили туда, надеясь приобрести хоть какую-то обувь. На воротах ни сторожа, ни охраны мы не увидели. Мы зашли во двор, где прямо на земле валялись заготовки туфель. Каждый стал подбирать себе по размеру. Вдруг в стороне я заметил охотничье ружьё — двустволку. Забыв про обувь, я надел её на себя и уже собрался уходить. Но в этот момент откуда ни возьмись появился сторож. Он подбежал ко мне, сорвал с плеча ружьё, отшвырнул подальше и закричал: «Ты что, ненормальный? Немедленно уходи отсюда! Тебя же немцы убьют, если увидят с оружием в руках».

Как только ружьё отлетело в сторону, во двор вошли немцы, три эсэсовца — высокие, сильные, наглые. Один из них схватил меня за плечи и начал на меня кричать по-немецки. Слов я не понимал, мне казалось, что немец гавкает, как собака. Потом фашист перехватил меня за ворот и отвесил такого пинка, что я несколько метров пролетел по земле.

Поднявшись, я пулей выскочил со двора и побежал к улице Свердлова, находящейся буквально в нескольких метрах от цеха. Но перейти дорогу я не успел — по брусчатке мостовой громыхали танки».

Пока одни горожане разбивали витрины магазинов и громили склады, другие тащили из аптек лекарства, а из детских магазинов — всё, что попадалось под руку. Житель Таганрога Гена Исаков запишет в своём дневнике:

«Сегодня нет грабежей, но они были вчера... Грабежу подверглись не только магазины, но и отдельные предприятия.

Во дворе кондитерской фабрики находился накрытый бассейн с патокой. И вот, ворвавшись на фабрику, люди, толкая друг друга, жадно запускали ведра в бассейн, а набрав патоки, уже стеклянные от облитого, шли домой. Говорят, что одна женщина, оступившись, упала в бассейн и утонула».

Между тем немец наступал.

Шестого октября состоялись первые бои истребительных батальонов с врагом. О том, как это было, станет известно лишь спустя пятьдесят три года из книги «Таганрог. Огненные годы». В своих воспоминаниях ветеран Великой Отечественной войны, бывший командир взвода Таганрогского истребительного батальона А.А. Дьяченко напишет:

«Седьмого октября истребительные батальоны вышли на встречу с врагом в районе сёл Ефремовка и Марьевка, где 8 октября и приняли первый бой. Горьким было отступление до реки Миус в районе сёл Николаевка и Троицкое. Боеприпасы были на исходе, но, несмотря на это, оба батальона, заняв оборону на реке Миус, держались до 15 октября и в ночь на 16-е передали участок обороны бойцам 31-й дивизии....»

Седьмого октября на окраине Таганрога появились первые немецкие самолёты. Четвёрка «юнкерсов» отбомбилась по Мелентьевскому мосту, в который ни одна бомба так и не попала. На буквально заговорённый Мелентьевский мост в течение нескольких последующих дней немецкие лётчики будут делать по нескольку заходов в день вплоть до 13 октября, так и не сумев добиться поставленной задачи: бомбы не только не разрушили мост, но и не попали в него.

Восьмого октября в 17.40 по московскому времени со стороны хутора Офентаиль, где ещё со времён Екатерины II селились немецкие колонисты, в посёлок Фёдоровка вошла 2-я мотоциклетная рота 1-го разведывательного батальона «Лейбштандарт Адольф Гитлер» оберштурмбанфюрера Курта Мейера. В это время в кабинете секретаря таганрогского горкома партии Л.И. Решетняка раздался настойчивый телефонный звонок. Звонили из Фёдоровского сельсовета. На том конце провода взволнованный голос сообщал о том, что по селу бродят неизвестные люди в «лягушачьей» форме, отбирают у местных жителей птицу и домашний скот. Всего через несколько дней Фёдоровка станет центром главных событий на таганрогском участке Южного фронта.

Несмотря на героические усилия советских войск, сдержать натиск немцев так и не удастся. Шестнадцатого октября немцы подвергнут невероятной по своей силе бомбардировке всю линию обороны от лимана до Мамаева кургана, на отдельных участках обороны буквально смешав с землёй наши позиции. Под натиском эсэсовских подразделений «Лейбштандарта» 177-й и 75-й полки 31-й стрелковой дивизии, а также 32-й артиллерийский полк будут вынуждены оставить занимаемые позиции, получив приказ занять оборону на высотах северо-западнее Самбека и на участке Николаевка-Троицкое.

Перебравшись на левый берег лимана, немцы стали продвигаться через Беглицу, Красный Десант, Дмитриадовку и Петрушино и вышли к заводу Димитрова со стороны глиняного карьера. Пройдя через территорию завода, гитлеровцы направились на Мясницкую улицу, а далее — на улицу Шевченко...

* * *

Гордей прошёл уже половину пути, как вдруг услышал позади себя непонятный металлический лязг и шум, похожий не то на рокот, не то на гудение. Мальчик оглянулся, посмотрев против солнца. Увидев в конце улицы колонну танков, впереди которых ехали мотоциклисты, он невольно прищурился. Прикрыв глаза рукой от яркого солнца, Гордей, не до конца веря себе, тихо и неуверенно сказал:

— Наши...

Сделав пару несмелых шагов, мальчишка снял кепку и затем уже побежал навстречу колонне, крепко держа за лямку подпрыгивавший на спине рюкзак. Гордей размахивал кепкой и во весь голос кричал:

— Ура-а! Наши-и! Наши-и-и!

Осознание того, что это не «наши», пришло к Гордею слишком поздно, когда он почти поравнялся с немецкими мотоциклистами, ехавшими в голове танков PZ-2 и PZ-3 4-го танкового полка 13-й танковой дивизии немцев, которыми был усилен «Лейбштандарт». Увидев русского мальчишку, радостно размахивающего кепкой, немец с рыжей щетиной засмеялся, притормозил рядом с маленьким «иваном». Взяв из рук оцепеневшего от ужаса Гордея рюкзак, немец посмотрел в него и, удивлённо вскинув брови, что-то сказал своему напарнику, потом похлопал мальчишку по плечу и сказал на ломаном русском:

— Кароший рус!

Передав рюкзак с мясом напарнику, немец дал газу.

Гордей остался стоять у обочины, буквально оцепенев от сковавшего его страха. Мимо него двигалась колонна немецких танков, бронетранспортёров и машин. Фашисты устало и несколько отрешённо смотрели на мальчишку, курия и о чём-то беседуя между собой. По их потрёпанному и усталому виду было ясно, что они долго не отдыхали. Измученные боями с Советской армией, немцы хотели только одного — выспаться и набить брюхо...

Прошло несколько минут. Колонна ушла вперёд, оставив Гордея наедине со своим ужасным открытием: в городе немцы. Надо было бежать домой, чтобы сообщить об этой страш-

ной новости матери. Гордей услышал впереди выстрелы. Три коротких очереди, разорвав тишину, вспугнули стайку воробьёв, сидевших на дереве у обочины.

Окончательно выйдя из состояния ступора, Гордей пошёл по улице. Ему было страшно, но мальчишеское любопытство сильнее доводов разума и элементарной опаски. Вскоре Гордей увидел впереди немцев, стоявших вокруг лежавшего на дороге человека в военной форме. Обсуждая увиденное, по обочинам дороги у домов стояли перепуганные старухи и женщины.

Преодолевав страх, Гордей тихонько подошёл к тому месту, где в луже крови лежал советский солдат. На его простреленной форме ала пулевые отверстия. До этого момента Гордей никогда не видел убитых людей. Конечно, он не раз бывал на похоронах, глядел на бледные лица покойников с ввалившимися глазами и обострившимися скулами, но то были похороны уже умерших, а тут — человек, который несколько минут назад был жив. Так Гордей впервые столкнулся со смертью — она была совсем рядом.

Солдат лежал лицом вверх с открытым ртом и раскинутыми руками. Из его простреленного в нескольких местах тела длинной алой змейкой вытекала кровь, образуя большую причудливой формы лужу, похожую на ярко-красный кисель. В этот момент из ниоткуда появилась небольшая собака с подведённым животом. Водя носом по воздуху, озираясь и шарахаясь от каждого звука, собака тихо подкралась к покойнику и начала лизать кровь. Гордей почувствовал приступ тошноты. Его вырвало.

Взглянув на мальчишку, рыжий немец — тот, что забрал у Гордея сумку с продуктами, — засмеялся и, наведя на бледного перепуганного паренька автомат, громко и театрально крикнул:

— Тра-та-та!

Гордей вздрогнул, закрывшись руками. Интуитивно сделав шаг назад, он споткнулся и упал. Это вызвало ещё больший смех фашистов.

Впрочем, уже через секунду немцы потеряли интерес к неожиданному спектаклю и занялись изучением документов своей жертвы.

Позже Гордей узнает, что убитый оказался советским солдатом, который приехал к матери

своего погибшего друга, чтобы передать ей награды и документы сына. По злой иронии судьбы старшина вышел из дома в тот момент, когда мимо проезжали немцы. Прижав шапку к груди, он широкими шагами рванул через улицу, и, может быть, ему удалось бы выжить, не поставь ему судьба подножку.

Услышав, как что-то выпало из кармана его галифе, старшина быстро оглянулся и увидел на дороге свой партбилет. Потерять партбилет было равносильно потере личного оружия и совети. Лучше потерять голову...

Смачно выругавшись, старшина сделал последний в своей жизни рывок назад. Он уже схватил партбилет, развернулся и побежал, начав петлять, но в это время немцы дали по нему три очереди. Цокнув по дороге, пули подняли фонтанчики пыли, чиркнув перед сапогами старшины, а потом пробili его ноги, спину и голову.

Словно получив удар чем-то тяжёлым по затылку, старшина споткнулся, упав лицом на дорогу, потом дёрнулся и затих. Соскочив с мотоцикла, пара немцев подбежала к уже мёртвому советскому солдату. Один из них ткнул в тело стволом своего автомата. Перевернув убитого, солдаты выворачивали карманы русского, вытащили документы...

С того дня Гордей возненавидел немцев. Он начал думать о том, как бы уйти на фронт, но первый же разговор с матерью закончился грандиозным скандалом. Валентина и слышать не хотела про фронт. От её Кузьмы за всё время пришло всего одно письмо. Жив ли он или его давно схоронили в какой-нибудь выкопанной на скорую руку братской могиле — Валентина могла только гадать.

Немцы, занявшие город, завели там свои порядки, которые принесли жителям самое страшное — неизвестность. Сколько придётся жить под оккупантами, никто из таганрожцев не знал, а выжить нужно было любой ценой.

Вскоре и Гордей — единственная надежда для Валентины на мало-мальскую жизнь в тылу — начнет по двенадцать часов в день трудиться на рытье окопов. За тяжёлую работу немцы будут выдавать Гордею взрослый паёк. Свой паёк ста-

нет получать и Валентина, горбатясь на мебельном заводе. Немного будут выручать огородные запасы, но их Валентина постарается особо не трогать из экономии продуктов.

Может быть, поэтому, когда Гордей попросит мать отпустить его на фронт, она не выдержит — даст сыну крепкую затрещину и, хлопнув по столу кулаком, крикнет ему в лицо:

— Нет, я сказала!

Пока Гордей думал, как попасть на фронт, в Таганроге уже шла другая жизнь. На улицах города, заполненных фашистами, звучала немецкая речь. С эвакуацией для жителей не успели... Зато нашлись те, кто встретил немцев хлебом-солью...

На долгих два года Таганрог станет временным пристанищем и местом дислокации штаба 1-й танковой армии генерал-полковника Клейста, штабов корпусов и дивизий, в числе которых были военная разведка Абвергрупп 101, 201 и 304, зондеркоманды СД-10а, СД-6, СД-46, фронтовая, морская разведка и контрразведка, представительство власовской РОА, отделения тайной полевой полиции ГФП-626 и ГФП-721, отряд фельджандармерии, русская вспомогательная полиция со штабом в пятьсот пятьдесят человек, а также элитная дивизия «Адольф Гитлер».

Немцы тут же принялись устанавливать в городе свои порядки. 26 октября германское командование издало приказ, согласно которому на Владимирской площади у школы должны были собраться все таганрогские евреи. Сопротивляться новым властям было бессмысленно, поэтому 1800 евреев, среди которых были мужчины, женщины и дети, послушно пришли на площадь. Через несколько часов их вывезут на грузовиках на окраину Таганрога к Петрушинной балке возле авиазавода Бериева и расстреляют коллаборационисты из Шуцманшафта. Операция, которой руководил начальник айнзатцгруппы D Отто Олендорф, будет проведена в рамках так называемого «окончательного решения еврейского вопроса».

Выжить удастся только одному еврейскому мальчику — четырнадцатилетнему Володе Кобрину, которому помогут избежать казни несколько жителей Таганрога.

Местные жители нарекут Петрушину балку «балкой смерти». В течение двух лет немцы три раза в неделю будут расстреливать здесь заложников, антифашистов, коммунистов и комсомольцев, больных, инвалидов и военнопленных, начав с евреев и цыган. Количество расстрелянных в день иногда будет доходить до трехсот человек.

О том, как проходили расстрелы, косвенно станет известно из дневника рабочего авиазавода № 31 Н.Г. Саенко, присутствовавшего при эксгумации могил после освобождения Таганрога советскими войсками в 1943 году:

«В 9 часов началась выемка трупов в Петрушиной балке. При их выемке еле-еле присыпанные землёй, на скорую руку, трупы стали разлагаться от жары. Многие падали в обморок и приходили в истерику, у всех были слёзы на глазах. Трупы лежали со связанными за спиной руками и все головами в одну сторону. Все были раздеты, и, как видно, им приказывали при расстреле ложиться. Есть и дети до 15 лет...»

За 682 дня оккупации немцы расстреляют в Петрушиной «балке смерти» более восьми тысяч жителей Таганрога и окрестных сёл. Многие детей немцы убьют при помощи сильнодействующего яда, которым они будут смазывать им губы. Жертвами немцев станут не только евреи, цыгане, военнопленные и партизаны. Расстрелам подвергнутся граждане, попавшие в облаву, взятые в плен заложники, а также те, кто будет заподозрен оккупантами в уклонении от регистрации, в порче или краже военного имущества, включая самых обычных горожан. Баяниста Мищенко, попавшего под горячую руку патруля, немцы расстреляют только за то, что тот будет играть на базаре мелодию «Широка страна моя родная».

Расстрел евреев и местных антифашистов положил начало «большим переменам» в Таганроге. За расстрелами последовало введение комендантского часа и повальный грабёж населения оккупантами. Узнав о расхищении предприятий, магазинов и складов таганрожцами, немцы издали распоряжение № 1 от 31 октября «О сдаче награбленного, подобранного и взятого на сохранение имущества», подписанное бургомистром Таганрога Николаем Куликом. Фашисты принялись изымать у жителей всё, что

можно использовать для нужд немецкой армии или вывезти в Германию, вплоть до стеклянных бутылок. В Таганроге не было ни одного учреждения или предприятия, которые бы не подверглись грабежу оккупантов, добрались они даже до больниц и музеев.

Педантичные и расчётливые немцы занялись регистрацией всего, что могло быть зарегистрировано, — кур, собак, коров, коз, велосипедов, лыж, саней, автомобилей, музыкальных инструментов, мебели, произведений искусства и ручных тачек. В самые короткие сроки немцы наладили в городе работу по сбору тёплых вещей, лампочек, скатертей и лопат. Особенный интерес у немцев вызывали драгоценные металлы и ценные вещи.

После переписи населения, которая прошла в декабре 1941 года, немцы возобновили работу на нескольких промышленных предприятиях Таганрога, введя для населения трудовую повинность, обязательную для всех жителей от четырнадцати до шестидесяти пяти лет. На Третий рейх начали работать мебельная, кондитерская, картонная и швейная фабрики, кроватный, литейно-механический, гвоздильный, судостроительный и тарный заводы, включая несколько предприятий пищевой промышленности и инструментальный завод № 65.

Чтобы население Таганрога не вымерло от голода, немцы ввели паёк. Работающим полагалось по шестьсот граммов хлеба, всем остальным — по двести. С зимы 1942 года вместо хлеба немцы стали выдавать таганрожцам зерно. Расчёт немцев был верным. Хочешь жить — работай на Третий рейх. Не хочешь работать — либо умрёшь от голода, либо будешь расстрелян или вывезен на работы в Германию. Многие семейные таганрожцы из страха за детей были вынуждены работать на немцев. Те же, кто был морально крепче и не желал гнуть спину на оккупантов, выживали как могли, ради куска хлеба продавая или выменивая на городском базаре и в близлежащих деревнях последнее.

Жизнь под немцами была полна трудностей. Главной проблемой стало снабжение водой. Через много лет жительница Таганрога Ирина Баева (Болдырева) будет рассказывать о том времени:

«Мы старались вообще не выходить из дому, чтобы не попадаться немцам на глаза. Но жизнь заставила. За водой мы ходили на колонку, а немцы перекрыли к ней доступ. И, чтобы набрать воды, нам, да и всем жителям центра приходилось идти через весь город за старый железнодорожный вокзал. Помню, как к этой колонке выстраивались огромные очереди, люди с вёдрами, банками, кастрюлями...»

Невыносимой жизнь в своем городе стала лишь для таганрожцев. Для немцев же было сделано многое, включая развлечения. Тогда в Таганроге появились рестораны, театр, кафе, скамейки с надписью «только для немцев» в городском парке — всё исключительно для оккупантов. Даже публичный дом...

Семья Громовых, как и другие семьи Таганрога, восприняла жизнь под немцами как тяжкое испытание, посланное им свыше. Отца Гордея забрали на фронт одним из первых. Мать осталась с детьми — приглядывала за тремя дочерьми и сыном. Гордей был самым старшим, а потому основные домашние хлопоты лежали на нём. Валентина, которая в последние месяцы стала прихварывать, то и дело держалась за сердце, но работала, а отлёживалась вечерами. Сестрёнки Гордея могли делать по дому только самую лёгкую работу. Так что с определённого момента в силу обстоятельств главной опорой в семье Громовых стал Гордей.

Но Громовы не жаловались на жизнь. Как всем — так и им. Жили тихо, стараясь не выделяться. Радовались самому малому. Гордей на всю жизнь запомнил, как в один из зимних вечеров мать принесла украденные у немцев картофельные очистки. Завернув в платок, она спрятала их под душегрейкой. Был конец зимы. Свою картоху Громовы к тому времени уже подъели. Закрывшись на все крюки и занавесив все окна, Валентина сварила детям похлёбку, вкус которой Гордей помнил ещё очень долго. Это был особый вечер: все ели и плакали. Сначала зашмыгала носом Валентина, потом младшие сестрёнки Гордея, а потом закапало из глаз и у него самого.

Валентина, сердце которой болело за каждого ребёнка, то и дело наказывала детям, как вести

себя на улице, особенно при встрече с немцами. Главное, говорила, в глаза фашистам не смотреть и выглядеть попроще, поприсурковатее. Иной раз сестрёнки перепачкаются сажей, самое драненькое на себя напялят и в таком виде выходят на улицу, лишь бы патруль немецкий или полиция не привязались...

Внешне мало кто из жителей выказывал оккупантам неприятие — за малейшую провинность немцы тут же расстреливали жителей или на площади, или в Петрушиной балке. Но тайне каждый таганрожец желал возмездия, и Гордей тоже. Только что мог сделать физически слабый паренёк, ежедневно трудившийся на рытье окопов по двенадцать часов подряд? Домой Гордей приходил, как говорится, без задних ног. Выделяемой немцами пайки едва хватало на восстановление сил.

И все же Гордей мечтал о том, чтобы совершить какой-нибудь подвиг. Он уже знал о существовании в Таганроге подпольной антифашистской организации, но дальше героических фантазий, в которых мальчишка подрывал немецкие танки и эшелоны с фашистами, колот их ножом в рукопашном бою или стрелял, дело не шло. Гордей и ушёл бы в партизаны, но мать, которая давно болела, не отпускала, да и по возрасту он был ещё совсем мальчишка: только окончил девятый класс. К моменту взятия Таганрога немцами Гордею исполнилось всего пятнадцать лет...

Однажды поздно вечером в окно к Громовым постучали. Стук был быстрым и требовательным. Мать Гордея, вздрогнув, с тревогой в голосе сказала:

— Господи, кого это на ночь глядя принесло?

Сёстры Гордея, Таня и Лида, вышивавшие за столом, испуганно спросили Валентину:

— Кто там, мам?

— Да почём я знаю. Тихо вы! — шикнула на дочерей Валентина.

А сама удивилась, что обычно оповещавшая о любых гостях собака Лада молчит. Валентина переживала не случайно: на улице уже часа два был комендантский час. Любое передвижение по городу и визит к гостям могли закончиться расстрелом как визитёра, так и хозяев. Несмотря на то что деревянный дом Громовых находился на окраине города, здесь было так же беспокой-

но, как и в центре Таганрога. По улице то и дело ездили мотоциклисты и бродили немецкие патрули с собаками. Они проверяли каждого, кто попадался им на пути после наступления комендантского часа.

Валентина накинула шаль и торопливо вышла в сени. Прежде чем открыть дверь, она пугливо спросила:

— Кто там?

— Тётъ Валь, это Шурка.

Женщина узнала по голосу школьного товарища своего сына — Шурку Милютину, учившегося на класс старше Гордея и жившего через улицу. Валентина открыла, впустив Шурку. Выглянув за дверь и убедившись, что за изгородью никого нет, она закрыла входную дверь на крюк.

— Ты чего так поздно? — строго спросила Валентина Шурку. — Случилось что-то?

— Да так... Тётъ Валь, мне к Гордею надо. Дело есть.

— Какое ещё дело? Ты на часы смотрел, обалдуй? — буркнула Валентина. — Голова-то есть или там котелок для каши? Комендантский час за окном, а у него дело. Как тебя ещё немцы не сцапали!

— Тётъ Валь, во как надо! — Шурка провёл большим пальцем по шее. — Правда. Я быстро.

Валентина, сурово взглянув на Шурку, вздохнула и, покачав головой, нехотя сказала:

— Ладно. Иди к своему Гордею, да сидите там тихо. Чтобы тише воды, ниже травы у меня были. Да не забудьте занавески задёрнуть.

— Ясное дело, тётъ Валь, — громко шепнул Шурка.

Успев на ходу шепнуть «спасибо», он скрылся в дальней комнате.

— «Спасибо...» — заворчала вслед Шурке Валентина. — Высечь бы тебя по-хорошему за такое «спасибо». И куда только мать смотрит...

Гордей читал сказку младшей сестрёнке, когда внезапно в комнате появился его друг.

— Здорово, Гром!

— Шурка? Ты откуда?

— Из дома. Дело одно есть.

В глазах Гордея заиграли тревожные огоньки любопытства. Шурка — человек серьёзный, понапрасну беспокоить не станет. Видать, дело действительно важное. Гордей нетерпеливо дёрнул Шурку за рукав:

— Говори давай, чего случилось?

Шурка показал взглядом на сестру Гордея:

— Нам без свидетелей надо поговорить.

По глазам Шурки Гордей понял, что разговор будет взрослый.

— Шурка, ты тут посиди пока, а я Иринку к мамке отведу.

Взяв сестру за руку, Гордей отвёл её на кухню, усадил там с книжкой за стол.

— Чего это вы там удумали-то? — грозно спросила сына Валентина.

Но Гордей уже целовал мать в щёку:

— Мам, мы быстро. У нас мужской разговор.

Валентина покачала головой, но возразить маленькому мужчине не посмела: вдруг у ребят действительно что-то важное?

Гордей закрыл за собой дверь комнаты, сел на кровать и, показав другу взглядом место рядом с собой, шепнул:

— Бросай якорь тут.

Шурка присел рядом с Гордеем. Оглянувшись, быстро вытащил из-за пазухи довольно большой тряпичный свёрток, перемотанный верёвкой. Протянув его другу, Шурка негромко сказал:

— Спрячь это пока у себя.

Гордей посмотрел на странный свёрток.

— Что там?

Шурка медлил с ответом, будто подыскивая нужные слова. Глядя в глаза товарищу, он словно пытался понять, насколько можно ему доверять.

— А ты никому не расскажешь?

— Обижаешь! — вспыхнул Гордей. — Помнишь, как ты в кабинете химии оборудование сломал?!

— Ну?

— Чего — ну? Я хоть кому-нибудь об этом сказал?!

— Ну, не сказал.

— А когда ты из журнала страницу с двойкой по географии вырвал, кто эту тайну хранил?!

Кусая нижнюю губу, Шурка молча глядел на Гордея, который ответил за него:

— Я хранил. Мне обидно, Шурка.

— Ладно, Гром... Давай без нотаций. Хорошо. Я тебе расскажу, но только с одним условием: ты никому об этом ни слова. Уговор?

— Мамкой клянусь! — тут же выпалил Гор-

дей, крепко пожав Шуркину сильную не по годам руку.

— Тогда слушай. В этом свёртке динамит...

— Что? Динамит?! — громче положенного переспросил Гордей, рот которого Шурка тут же крепко прикрыл рукой.

— Ты чего орёшь? — шумнул на друга Шурка.

Не хватало ещё, чтобы мать Гордея услышала!

Шурка встал с кровати и на цыпочках подошёл к двери, прислонился к ней ухом. За дверью — тихо, лишь слышалось, как брякает посудой мать Гордея да о чём-то говорят между собой его сёстры. Убедившись, что опасности нет, Шурка вернулся обратно. Постучал костяшками пальцев по лбу Гордея:

— Думать надо, прежде чем орать!

— Прости, Шурка. Вырвалось.

Гордей виновато смотрел на товарища — ему было стыдно перед ним за свой длинный язык.

— «Прости-и-и...» Ладно. Проехали, — повзрослому сказал Шурка. — Я буду говорить, а ты слушай и молчи, договорились?

Гордей кивнул.

Шурка выдохнул и начал свой рассказ:

— У нас в Таганроге есть своя антифашистская организация. Слыхал?

Гордей кивнул.

— Так вот я в ней тоже состою.

Глаза Гордея округлились. Шурка поднёс палец к губам, шёпотом продолжил рассказ:

— Я связной между партизанами и нашей организацией. В этом свёртке — динамит для подрыва немецкого поезда. У меня сейчас дома обыск — какая-то сволочь в комендатуру стукнула, поэтому мне динамит нужно у тебя на время оставить. Домой мне пока нельзя — полицаи тут же сцапают, у других ребят тоже обыски, а оставить динамит где попало я не могу. Пусть пока он у тебя полежит. Если через два дня я не приду, отнесёшь этот свёрток одному человеку...

Шурка достал из кармана смятый кусочек бумаги, на котором химическим карандашом был написан адрес. Протянув его Гордею, Шурка спросил:

— Знаешь, где это?

— Спрашиваешь! Конечно!

— Скажешь, что это от Германа.

— От какого?

— Неважно. Там поймут.

— А почему ты сам не можешь туда пойти?

— Я не уверен, что там сейчас тихо. Если у меня обыск, там тоже могут шмонать. В организации завёлся стукач. За последний месяц уже нескольких наших взяли.

— А как же ты? — с тревогой в голосе спросил Гордей.

— За меня не беспокойся. Я пока пересижусь где-нибудь, пока всё не утрясётся.

Внимательно посмотрев другу в глаза, Шурка спросил:

— Гром, на тебя можно надеяться? Не подведёшь?

— Я хоть раз тебя в чём-нибудь подвёл? — нахмутив брови, тихо сказал Гордей.

— Нет. Да ты не обижайся, просто тут дело особое. От него зависит судьба всей операции и жизнь моих товарищей по подполью.

— Понимаю. Не маленький.

— В общем, Гром, я на тебя надеюсь.

Шурка протянул увесистый свёрток Гордею:

— Спрячь это подальше и никому ни слова. Если немцы об этом узнают, всю семью в балке расстреляют. Да смотри, чтобы сестрёнка не нашла.

— Не найдёт, — уверенно сказал Гордей, спрятав свёрток под подушку.

— Ладно, Гром. Мне пора, а то тётя Валя ругаться будет. Если спросит, о чём говорили, придумай что-нибудь.

— Хорошо.

Пожав Гордею руку, Шурка вышел из комнаты. На ходу попрощался с Валентиной:

— До свидания, тётя Валь!

— Ты куда же в ночь-то, Шурка? Может, до утра у нас пересидишь?

— Не, тётя Валь. Мне домой надо. Спасибо, что впустили.

— Да ладно. Я ж понимаю: раз пришёл по поздне, значит, что-то срочное.

Шурка взялся за ручку входной двери, как вдруг услышал за спиной:

— Шурка, погоди!

Валентина подошла к мальчишке и сунула ему пару варёных картофелин.

— Тётя Валь, да что вы! Не надо, — попытался возразить Шурка.

Но Валентина крепко сжала картошку в руках Шурки.

— Бери, говорю! Синий уж весь с голодухи-то. Всё. Беги. Да гляди, осторожнее там.

— Хорошо.

Шурка сделал шаг в сени и, оглянувшись, сказал:

— Тётъ Валь, спасибо за картошку.

— Кушай на здоровье.

Проводив светящегося от счастья Шурку и закрыв дверь на крючок, Валентина долго спрашивала Гордея, уже успевшего спрятать динамит под кровать, по какому такому срочному делу приходил его друг. Но Гордей лишь улыбался и твердил про какую-то «военную тайну». Поняв, что сын всё равно не скажет правду, Валентина пошла укладывать дочерей спать.

* * *

Шурка был одним из пятисот подпольщиков Таганрога, боровшихся с немцами. В организации, в состав которой при самом своём зарождении входило всего шесть человек, было двести юношей и девушек. Вступая в ряды организации, каждый подпольщик давал клятву:

«Вступая в ряды борцов против немецких захватчиков, я клянусь быть бесстрашным и бдительным, клянусь беспрекословно выполнять задания и приказы организации. Я скорее умру под пыткой, чем выдам тайну. Рука моя не дрогнет, истребляя подлых захватчиков. Вся моя жизнь принадлежит Родине, моему народу...»

Первое заседание боевого отряда состоялось в конце февраля 1942 года на квартире Василия Афонова, который был избран его командиром.

Разбитая на несколько групп организация действовала сразу в нескольких районах города. У каждой группы был свой руководитель и отдельные задания, свои явки и пароли. Подпольщики действовали на заводах, на железной дороге и в административных учреждениях оккупантов. Антифашисты Таганрога действовали скрытно, но дерзко и очень эффективно.

Главным в организации был Семён Морозов. Именно он планировал основные акции против фашистов. В день Великой Октябрьской революции подпольщики преподнесли немцам осо-

бий «подарок» — взорвали трёхэтажное здание, в котором находилась немецкая комендатура. В тот день мощным взрывом были уничтожены сто пятьдесят солдат и офицеров вермахта.

Под руководством Семёна Морозова в 1942–1943 годах подпольщики вывели из строя, сожгли и залили кислотой почти двести автомобилей немцев, взорвали несколько складов и семьдесят пять поездов. Одной из самых дерзких операций таганрожских подпольщиков станет крушение двух немецких составов, направленных лоб в лоб на станции Марцева. Эта диверсия станет единственным подобным случаем за всю войну.

Пока одни группы действовали на железной дороге, другие взрывали продуктовые склады и склады кожевенного сырья, поджигали дома и гаражи, выводили из строя ценное немецкое оборудование. Константин Афонов, имевший опыт подрывной работы, уничтожил оборудование, при помощи которого немцы восстанавливали подбитые танки. Позже под руководством Афонова отряд партизан совершил налёт на полицию в посёлке Маяковка, освободив и переправив на советскую сторону группу пленных красноармейцев.

Членами таганрожской подпольной организации были самые разные люди, у каждого были свои счёты с фашистами. Среди них был сын венгерского эмигранта, газосварщик и руководитель авиамодельного кружка в Доме пионеров Сергей Вайс. В 1942 году вместе с другими таганрожцами немцы угонят Сергея в Германию. Бежав из плена, он вернётся в Таганрог, активно включится в борьбу с фашистами. Взяв псевдоним Виталий, Сергей станет заместителем руководителя группы, в задачи которой будут входить разведка и контрразведка, а также организация диверсий против немцев.

Жизнь подпольщика, посмертно награждённого орденом Отечественной войны II степени, оказалась недолгой. При переходе линии фронта Сергей Вайс попал в плен. После мучительных пыток и допросов его расстреляли. Та же участь постигнет и Николая Кузнецова. Немцы схватят Николая 28 мая 1943 года. Кузнецову удастся передать на волю записку: «Полиция узнала, что мы с Юрием Пазоном сожгли дотла немецкий вездеход с пшеницей

и автомашину». Немцы расстреляли Николая 6 июля 1943 года в Петрушиной балке.

Там же в конце мая 1943 года погиб ещё один подпольщик Таганрога — Анатолий Назаренко, литсотрудник газеты «Таганрогская правда». У Анатолия была особая миссия. Помимо доставки подпольщикам оружия и боеприпасов, а также участия в диверсиях, Анатолий писал листовки, составлял воззвания к горожанам и распространял выпускаемые подпольным штабом бюллетени «Вести с любимой Родины». В историю подпольной организации Таганрога Анатолий вошел благодаря своему дерзкому подвигу: он похитил у немецкого офицера точную схему расположения немецких объектов в Таганроге. Позже подпольщики передадут эту схему на Большую землю. Анатолия выдал предатель. Как и других подпольщиков, его долго пытали на допросах, после чего расстреляли. Наградой Анатолию Назаренко станет медаль «За отвагу». Посмертно.

Да, среди членов организации были и предатели. Один из них — Анатолий Мещерин. Как и многие таганрожцы, он учился в школе № 2 имени А.П. Чехова, мечтал поступить в Московский ГИТИС и выучиться на режиссёра. Его примут в подпольную организацию в 1941 году по рекомендации Николая Кузнецова. В задачи Анатолия Мещерина будет входить распространение сводок Совинформбюро. Анатолий не был трусом. Выполняя рискованные задания подпольного штаба, он часто рисковал жизнью ради товарищей. Однажды он расстрелял из автомата автомобиль бургомистра. Анатолия арестовали дома. Долгие изощренные допросы сломают его волю: не выдержав пыток, Мещерин выдаст полиции Нонну Трофимову.

Иной будет судьба ещё одного подпольщика — Петра Турубарова. Его семья целиком вошла в состав подпольной организации Таганрога. Именно в доме Турубаровых при наглухо занавешенных окнах будут проходить первые заседания организации. Пока дети — трое из них впоследствии погибнут — обсуждали планы нападения на фашистов, отец и мать несли караул у дома. Пётр Турубаров станет руководителем подпольной группы, которая будет собирать оружие для подпольщиков и распространять листовки. Сам Пётр займётся снаб-

жением антифашистов бутылками с горючей смесью для уничтожения немецкой техники.

После ареста Петра Турубарова подвергнут мучительным пыткам, но он сумеет бежать и будет долго скрываться. Вскоре по наводке предателя Турубарова вычислят. Когда за ним придут, он будет долго отстреливаться, убьет двоих. Последнюю пулю Пётр оставит для себя...

Советские войска освободят Таганрог в августе 1943 года. К этому времени сто двадцать подпольщиков будут арестованы немцами и расстреляны в Петрушиной балке смерти. Шурку Милютину немцы расстреляют спустя шесть дней после его прихода к Гордею. Юного подпольщика возьмут ночью, когда тот попытается подойти к своему дому, не заметив засады.

После освобождения Таганрога Гордей уйдёт на фронт. Валентина уже не будет перечить рано повзрослевшему сыну, даст ему материнский наказ смело бить фашиста и благословит его бабкиной иконой, которую она тайно хранила на чердаке дома.

* * *

...Кузьмич гладил по голове Нину, вспоминая своё опалённое войной детство, и смотрел в окно. Задумавшись, он не замечал, как бегут минуты.

Выплакавшись, Нина понемногу успокоилась, стала вытирать глаза.

— Ну что, дочка, полегче? — спросил Кузьмич.

— Немного... Гордей Кузьмич, я глаза не размазала?

— Да так. Самую малость.

Нина грустно улыбнулась:

— Вы подождите, я себя в порядок приведу.

— Конечно-конечно. Я погожу.

Женщина встала и прошла в ванную. Плеснув на лицо холодной воды, она приводила себя в чувство, удивляясь тому, как легко рассказала незнакомому человеку о своей беде. В Кузьмиче было что-то родное. Теперь таких стариков уже нет...

Нина вытерла лицо, поправила причёску и вернулась на кухню. За это время хозяин успел вскипятить чайник, наполнил кружки.

Нина присела и светло улыбнулась:

— Ну вот. Я готова. Можно продолжать разговор.

— Вот и хорошо, а я уже нового чайку запарил.

— Спасибо, Гордей Кузьмич. Вы прямо как отец родной. Есть в вас что-то такое... Даже не знаю, как сказать. Советское, что ли. Давно такого в людях не замечала. Сейчас же всё советское ругают, а я так и осталась жить в Советском Союзе. Знаю, что я «совок», но ничего не могу с собой поделывать.

— Кто-кто? Совок? — подумав, что ему слышалось, спросил Кузьмич.

Нина улыбнулась:

— «Совок», Гордей Кузьмич, это человек, который по советскому времени скучает, от слова «советский».

— А-а... Ну так а что ж в этом плохого? Хорошее было время. Настоящее. Я тоже по нему скучаю. Получается, и я «совок». Вишь, как хорошо: нас уже двое, уже не скучно жить.

Кузьмич по-доброму засмеялся, придерживая рукой вставные зубы. Разрядив обстановку, старик как-то отмяк, сбросив напряжение, да и Нине стало заметно полегче. Почувствовав поддержку фронтовика, она продолжила:

— Знаю, что надо под новую жизнь подстраиваться... А как?... Душа-то не лежит к новому. Я по советским кинотеатрам скучаю, по автоматам с лимонадом на улице, по настоящему мороженому и соку, по кефиру в треугольных пакетах и по молоку в бутылках... А какие раньше были песни!

— Это да, — поддакнул Кузьмич, — песни были хорошие.

— Помните «Старый клён»?

— А как же!

— Мама моя всё время её пела. И ещё «Ромашки спрятались»... Как затянут с подружками, аж плакать охота... А сейчас всё какое-то искусственное, всё под фонограмму. Поют не для людей, а для самих себя, лишь бы денег с людей побольше собрать. И фильмы такие же снимают — никакие. Ни одного нормального — одна жестокость, кровь и пошлятина. Есть, конечно, хорошие, но их по пальцам можно пересчитать.

Нина взяла кружку с горячим чаем и сделала глоток. Она чувствовала, что немного завелась, но разговор, задевший в Нине дорогие ее сердцу вещи, шёл уже по своей дорожке.

— Сколько всего советским народом было сделано! Заводы, фабрики построили, целину подняли, в Великой Отечественной победили. Конечно, не всё было хорошо, были и просчёты, ошибки... Взять те же репрессии. Сколько в тридцать седьмом людей уничтожили за просто так по доносам, из зависти, из мести! У меня деда репрессировали только за то, что у него дома было пять коров. Посчитали кулаком и сослали в Казахстан...

Слушая Нину, Кузьмич вспомнил, как в пятьдесят первом сам чуть не угодил в ГУЛАг по доносу своего сослуживца. Ту осень Кузьмич запомнил на всю жизнь...

* * *

12 сентября капитан Громов, китель которого был украшен боевыми наградами, праздновал свой двадцать шестой день рождения. На скромное торжество, которое пришлось отмечать на военных сборах в полевой палатке, собрались все свои. Как водится, сослуживцы Гордея выпили, расслабились. Ради дня рождения можно. В какой-то момент вспомнили о взятии Берлина. Гордей и рассказал своему товарищу Федьке Соколову, с которым вышел покурить, о встрече с американцами в мае сорок пятого. Рассказал да забыл.

Ничего особенного Гордей вроде бы и не говорил... Вот был только один незначительный момент, о котором капитан Громов вспомнит спустя два дня после того, как его арестует военная комендатура и направит на допрос к оперативному сотруднику НКГБ.

Причиной ареста стал донос старшего лейтенанта Фёдора Соколова, сообщившего в своём рапорте о «несоветском поведении» капитана Гордея Громова. А повод — пятьдесят самых обычных американских центов! «Буржуйскую» монетку Гордей хранил при себе как памятную реликвию. Он получил ее в подарок от американского военнослужащего Джона в мае сорок пятого в Берлине во время братания советских и американских солдат. Забыв об осторожности, Гордей показал те полдоллара Федьке. Кто бы мог подумать, что какой-то металлический кругляшок может послужить поводом для начала расследования против проверенного в боях советского капитана!

От тюрьмы Гордея, которого едва не обвинили в сбыте валюты и в антисоветской шпионско-диверсионной деятельности в пользу американской разведки, спасло вмешательство высокого штабного начальства. «Сверху» капитану Громову дали лучшую характеристику, какую только можно было придумать. Но без наказания Гордея всё же не оставили: изъяли памятную монету и лишили его капитанского звания.

Гордей и тому был рад. Главное — награды не отобрали и на свободе оставили. Миновали Громова и жестокие побои, к которым регулярно прибегали на допросах сотрудники госбезопасности.

1951 год стал особенным не только для Гордея, но и для комиссара государственной безопасности 2-го ранга, генерал-полковника Виктора Абакумова. Могущественного главу СМЕРША арестуют 12 июля 1951 года по приказу самого Сталина. Вместе с опальным генералом в Лефортовскую тюрьму отправятся его жена Антонина Смирнова и их маленький сын. Причиной ареста влиятельного Абакумова станет дело известного профессора-кардиолога Якова Этингера, арестованного в ноябре 1950 года и умершего в марте 1951-го в холодном карцере от переохлаждения.

Спустя четыре месяца после смерти Этингера на стол Сталину легло письмо, написанное старшим следователем МГБ М.Д. Рюминым, который обвинял Абакумова в превышении должностных полномочий и намеренном убийстве Этингера. По словам Рюмина, Абакумов намеренно «погасил» «перспективное» дело Этингера, который мог бы дать важные показания о «врачах-вредителях». Рюмин, назвавший в письме Абакумова «опасным человеком» на важном государственном посту, утверждал, что министр требует от своих следователей собирать компромат на руководивших работами по созданию ядерного оружия Авраамия Завенягина и Бориса Ванникова.

Этих обвинений оказалось достаточно для ареста Абакумова, который посягнул на «ядерный проект», курируемый Лаврентием Берией и находившийся под личным контролем Сталина.

Обвинения Рюмина в адрес Абакумова были не беспочвенными. За малообразованным сыном швеи и чернорабочего, имевшим особую страсть к слабому полу, увлекавшемуся борьбой и фокстротом, давно закрепилась слава жёсткого руководителя, не брезговавшего применять в своей работе непопулярные методы ведения следствия и допросов. Одним из таких методов была пытка холодом: подследственного сажали в холодильник. Это испытала на себе актриса Татьяна Окуневская и отразила в мемуарах:

«Я в холодильнике. В углу крошечный откидной треугольник, сесть на него невозможно: соскальзываешь или примерзаешь к стене. Следователь Соколов тихо говорит: «Надо всё подписать. Нечего корчить из себя Зою Космодемьянскую. Не таких, как ты, ломаем. Маршалов ломаем...»

О том, как работал на допросах Абакумов, спустя годы напишет Солженицын:

«...Сам министр госбезопасности Абакумов отнюдь не гнушался этой черновой работы (Суворов на передовой!), он не прочь иногда взять резиновую палку в руки».

Методы ведения следствия не смогли остаться незамеченными новым начальником секретно-политического отдела аппарата НКВД, пыточных дел мастером Богданом Кобуловым, давшим Абакумову рекомендацию для его выдвижения на самостоятельную работу. Благодаря рекомендации «Кобулича» в декабре 1938 года Абакумов становится руководителем УНКВД по Ростовской области с присвоением ему звания сразу капитана ГБ, а в марте 1940 года — снова через ступень — Абакумова повышают до звания старшего майора ГБ...

Между тем, по признанию некоторых современников Абакумова, Виктор Семёнович не был кровожадным человеком. Как-то раз, будучи уже генерал-полковником, Абакумов получил от Сталина расстрельный список из более чем ста тридцати фамилий «врагов народа» с просьбой разобраться и доложить. К удивлению Сталина, Абакумов нашёл в этом списке всего восемь кандидатур на высшую меру. Усмехнувшись, Коба сказал:

— Ну, значит, Хрущёв, который дал мне этот список, и есть самый главный «враг народа».

Сталину, боявшемуся подковёрных игр и заговоров, нужен был свой человек, который бы держал в страхе всю политическую и военную верхушку. Властный и исполнительный Абакумов подходил на роль «верховного надзирателя» идеально. Своим подчинённым он будет говорить прямо:

— Меня все должны бояться, в ЦК мне об этом прямо сказали. Иначе какой же я руководитель ЧК?!

В какой-то момент Абакумов, потерявший связь с реальностью, перейдёт к оскорблениям при подчинённых первых лиц государства, бахваясь тем, что в ЦК он «обращается запросто» и что там у него «все идут на поводу».

Позже появится версия о том, что Рюмин написал письмо Сталину вовсе не сам: его вынудили написать донос на Абакумова, поскольку Сталину понадобилась официальная причина для отстранения от должности министра госбезопасности. Поводом для опалы стал попавший в руки Сталина телефонный разговор между Берией и его подчинённым Абакумовым. Из разговора Кобе стало известно о том, что Берия просил Абакумова вывести из-под следствия арестованного врача. Простить Абакумову двойную игру Сталин не смог.

Судьба бросила Абакумова в те же ледяные котлы, в которые он регулярно бросал своих подследственных. На допросах бывшего начальника СМЕРШа пытали так усердно, что сделали инвалидом. Три месяца его держали в кандалах в придуманной им же камере-холодильнике, подолгу он был в наручниках, ему отбили половые органы. Об этом станет известно позже из книги Павла Судоплатова «Спецоперации». Однако в своих жалобах в ЦК Абакумов, которому следствие вменяло в вину создание камеры-холодильника, утверждал, что никаких холодильных камер не создавал и слыхом о них не слыхивал.

О ходе следствия по делу Абакумова Сталин, требовавший вскрыть «шпионскую деятельность» группы Абакумова, интересовался практически ежедневно. Из объяснительной записки бывшего заместителя министра госбезопасности Гоглидзе:

«Товарищ Сталин почти ежедневно интересовался ходом следствия по делу врачей и делу Абакумова-Шварцмана, разговаривая со мной по телефону, иногда вызывая к себе в кабинет. Разговаривал товарищ Сталин, как правило, с большим раздражением, постоянно высказывая неудовлетворение ходом следствия, бранил, угрожал и, как правило, требовал арестованных бить: «Бить, бить, смертным боем бить».

В 1953 году после смерти Сталина Виктору Абакумову предъявили обвинение в контактах с Берией, которого признали «агентом иностранных разведок», и в организации «ленинградского дела». На суде, который состоялся 19 декабря 1954 года в Ленинграде, Абакумов, не признавший своей вины, в своём последнем слове сказал: «Сталин давал указания, я их исполнял».

Суд признал Абакумова виновным во вредительстве, необоснованных арестах, совершении терактов, в применении к подследственным преступных методов ведения следствия, в измене Родине, а также в участии в контрреволюционной организации, приговорив бывшего министра госбезопасности к высшей мере наказания. Приговор в отношении любителя футбола, шашлыков и танцев был приведён в исполнение в день суда на Левашовской пустоши под Ленинградом...

Сколько хороших и плохих, виновных и невинных людей поглотило в своей кровавой утробе лихое время — этого никто точно так и не узнает. Люди исчезали в один миг, зачастую не успев сообщить о своём аресте даже близким. А они годами жили в неведении, ожидая возвращения тех, кого уже и не было в живых.

Кузьмич видел это не один раз: расскажет кто-нибудь из его однополчан политический анекдот про партию в передышке между боями — понадеется на надёжность товарищей, а, глядишь, спустя несколько часов за любителем анекдотов уже пожаловали особицы.

Как-то раз во время разведывода один сержантик технику немецкую похвалил. Что уж там — некоторые образцы вооружений и техники у фрицев действительно были на очень высоком уровне, недаром некоторые образцы герман-

ских танков и самолётов советские оружейники брали себе не только для изучения, но и для усовершенствования.

Немецкую технику тайком хвалили многие, но официально об этом запрещалось говорить — это было как минимум непатриотично, а как максимум — попахивало антисоветчиной и контрреволюцией. Когда разведгруппа Громова вернулась с задания, спустя пять часов за сержантом пришли трое конвойных во главе с особистом и представителем военной контрразведки. Поначалу сержант даже не понял, за что его арестовывают. Услышав, что его подозревают в государственной измене, он побледнел и как-то резко сник, сделавшись даже ниже ростом. Когда одевался, всё твердил: «Это какая-то ошибка. Я ни в чём не виноват. Ничего, там разберутся».

Больше того сержанта никто не видел. О том, что его арестовали за невинный анекдот, в группе Гордея Громова узнали спустя несколько дней — проболтался радист, принимавший донесение из штаба. Того, кто донёс на сержанта, так и не вычислили, но с тех пор Гордей зарёкся говорить лишнее.

* * *

Из воспоминаний Кузьмича выдернул голос Нины:

— ...Иногда я думаю, что меня родители испортили — приучили ко всему красивому, настоящему. У нас дома была большая библиотека. Папа всё время мне говорил: «Читай, дочка. В книгах вся сила. Будешь читать — будешь много знать, будешь умная». А сегодня люди почти не читают, только картинки в интернете смотрят. Людей в безмозглых баранов превращают, а они этого даже не замечают. У меня бабушка считала всегда в уме, и почерк у нее до самой смерти был красивый — вот как их учили. А сейчас молодёжь без калькулятора два на два не помножит.

— Это точно, — согласился Кузьмич.

— Знаете, Гордей Кузьмич, я тут недавно думала-думала и пришла к выводу, что во всех наших бедах виновато мирное время.

Кузьмич отставил кружку, испытующе посмотрев на Нину:

— Что-то я тебя не понимаю, дочка. Что ж в войне-то хорошего? Поди, в каждой семье кто-то на войне да погиб.

— Простите, Гордей Кузьмич, я, наверное, не так выразилась. Конечно, в войне ничего хорошего нет, тут я с вами полностью согласна... Просто... как бы это правильно сказать... Просто мирная жизнь меняет людей не в лучшую сторону. Она их как бы расслабленными, равнодушными ко всему делает. Нет никакой опасности, нет смерти, голода, холода, никто не стреляет, не бомбит — живи в своё удовольствие. Самая большая проблема — колбасы в холодильнике нет. Мы с отцом об этом часто говорили. Он у меня кадровым военным был, в своё время брал дворец Амина в Афганистане. Вот он и говорил, что мирное время портит людей, особенно военных. Не воевавший офицер, не знающий ценности человеческой жизни, не евший под пулями из одного котелка со своими подчинёнными, не дорожающий ими, не может правильно командовать людьми.

— Согласен, — тихонько поддакнул Кузьмич. — Так и есть.

— Вот взять, к примеру, ваше поколение. С самого малого детства вы видели только трудности и горе, всё время работали, игрушек почти не было, ели что бог пошлёт, одевались в самое простое, спали вповалку, учились с перерывами. Верно?

— Ну, это конечно. Так и было.

— А потом была война, которая всё ваше поколение вмиг сделала взрослым. Я, когда смотрю старые фотографии тех лет, всегда удивляюсь тому, как взросло в сорок первом выглядели школьники. Даже не верится, что это были десятиклассники. Просто взрослые люди лет тридцати-сорока. А сейчас десятиклассники какие-то инфантильные существа. Зачем живут, для чего? Только эсэмэски умеют рассылать и гадости друг другу делать. Иногда мне становится просто жалко нынешнее поколение. Окружили себя телефонами с компьютерами, а толком и жизни настоящей не видели. Клубы одни, песни дурацкие и мечты стать богатыми в одну секунду.

— Это ты верно подметила, дочка, — вздохнул Кузьмич. — Уж мы-то поработали за так.

Зато мы дружить умели и слово своё держали. Пообещал — умри, но сделай!

— Вот поэтому я вам и говорю, что мир хуже войны.

Кузьмич пожал плечами:

— Ну, если в этом смысле, то, может, оно и верно... Только, по мне, лучше уж такой мир, чем снова виселицы и бомбёжки.

На кухне наступила тишина. Нина почувствовала, что своими рассуждениями невольно задела старика.

— Я вас обидела?

— Да что ты, дочка! Не переживай. Просто я этой войны проклятой на всю жись наелся, — старик замолчал, а потом, переведя разговор, спросил Нину: — Дочка, я вот спросить тебя ещё чего хотел. По телевизору говорят, что в Кieve нацисты ходят. Может, там чего путают? Правда, что ль, нацисты? Не «националисты»?

— Нет, Гордей Кузьмич, к сожалению, не путают — не националисты. Нацисты самые настоящие. Такие же, с которыми и вы воевали, просто сегодня нацисты другие. У нынешних, Гордей Кузьмич, нет формы. Вместо фашистской формы у них теперь обычная одежда. В основном — спортивные костюмы с капюшонами, часто маски на лицах, а вместо автоматов — бутылки с зажигательной смесью, биты, ножи и железные цепи. Но идеология у них осталась та же самая — фашистская. В общем-то, дедушка, это самые обычные хулиганы и бандиты, которым нравится свою силу на слабых показывать и грабежами под прикрытием патриотизма заниматься. Там и безработных хватает, и бывших военных. Есть и наёмники, которым их хозяева специально платят, чтобы они всё это на Украине раскручивали. Но всё равно все они нацисты.

— Дочка, вот ты книжки пишешь — значит, образованная. Объясни ты мне по науке, кто такой нацист. Не «националист»? Хотя, ежели по мне, то и те, и другие — одно и то же. Просто я хочу понять. Запутали меня уже все.

— Так это просто, дедушка. Нацисты — это те, кто свою нацию ставят выше всех остальных. Если вы просто отстаиваете интересы своей нации и хотите её процветания, сохранения её языка, традиций и культуры, — это совершенно нормально. Тут всё законно. Другое дело — нацисты. Эти го-

товы убивать людей других наций, провозглашая высшую ценность своей. Понимаете?

— Ну, так... в общем, — Кузьмич сделал рукой в воздухе непонятную закорючку.

— Как бы вам сказать попонятнее?

— Да ты говори, а я дотумкаю.

— Понимаете, неважно, какая на тебе форма — немецкая или какая-то другая. Форма — это вторичное. Её у нациста вообще может не быть. Если ты считаешь, что твоя национальность лучше другой, ты нацист. Всё просто.

— Ну, это я уже понял.

— Но нынешние нацисты, Гордей Кузьмич, страшнее тех будут, которых вы в сорок пятом уничтожили, потому что нынешних от нас, нормальных людей, не отличить. Выглядят они как мы. Как мы — говорят, как мы — улыбаются. На некоторых из них посмотришь и никогда не подумаешь, что они нацики.

— Кто-кто? — не поняв смысл слова, спросил Кузьмич.

— Нацики.

— Прости, дочка, не могу в толк взять, — виновато сказал ветеран.

— Нацик — это нацист. Ну, так сейчас нацистов называют.

— А-а-а... Ну, понял теперь.

— В общем, они как мы внешне, только все в наколках. То свастика у них на плече, то трезубец, то танк на руке, то орёл фашистский во всю спину... Это у них признак патриотизма и что-то вроде опознавательного знака. Они считают: если ты патриот, должен себе какую-нибудь наколку сделать. Потом в нужный час эти «патриоты» надевают маски, берут в руки палки с цепями и идут убивать всех, у кого этих опознавательных знаков нет, кто говорит по-русски, думает по-русски и верит по-русски. Но среди них есть немало и таких, у которых ни наколок нет, ни бит с цепями. Внешне они вроде бы законопослушные граждане, которые любят свою Родину, образованные, не дураки, но они тоже нацисты. Образованные неглупые нацисты, уверенные в том, что все люди не их национальности — второй сорт. Нацистом может быть любой — русский, украинец, немец, бурят, японец, индеец... Любой. Понимаете?

— Ну, это любому понятно. А я-то уж, старый дурак, подумал, что на Украине настоящие фашисты ходят.

— Ходят, Гордей Кузьмич.

Старик сжал кулаки и, нахмутив брови, почти крикнул:

— Да ты что говоришь, Нина?! Настоящие фашисты?! На Украине?!

— К сожалению, да. Только без фашистской формы и автоматов.

Старик выдохнул:

— Ну дак какие ж это фашисты, коли без формы? Видать, просто хулиганы.

— Не хулиганы, Гордей Кузьмич. В том-то всё и дело. Я вам об этом и говорю. Нынешние фашисты и без формы бывают, а у некоторых даже депутатские мандаты есть. Их таких в нынешней Раде как вшей в тулупе. Одни — явные, другие — скрытые, но все хотят одного — под корень вывести всех русскоязычных на юго-востоке.

— Вот же чего творят, паразиты! — покачал головой Кузьмич, нервно закуривая. — Только я в толк, дочка, не возьму: чем им люди-то тамешные помешали?

— Тем, что власть фашистскую не приняли, Бандеру отказались чествовать. Тем, что на своём родном русском языке говорить хотят, георгиевскую ленточку топтать отказываются, ветеранов Великой Отечественной врагами Украины не хотят называть.

— Кого? Ветеранов? — вспыхнул Кузьмич. — Дочка, а ты часом ничего не путаешь? Ну, может, не так поняла, а?

Не желая верить услышанному, старик, которому показалось, что его гостя по молодости просто чего-то напутала, с потаённой надеждой посмотрел в глаза Нины, но та лишь виновато ответила:

— Не путаю, Гордей Кузьмич. Рада бы напутать, да не путаю.

Кузьмич как-то растерянно произнёс:

— Ну ведь я же... мы же... Как же так-то?.. Это ж советские солдаты фашиста победили! Как же они могут быть врагами Украины, Ниночка? Ветераны, фронтовики?

— Советские, дедушка. Конечно, советские. Только власти киевской это всё до лампочки. И вот это всё, дедушка, не только на Украине есть. В Латвии то же самое происходит. Там тоже русский язык запрещают, хотя на нём чуть не треть латышей говорит. Там вообще далеко продви-

нулись. Теперь если хочешь на русском говорить, то только дома, а в общественных местах изволь по-латышски. Не знаешь латышского — нанимай переводчика. Пять минут разговора — десять евро. И в это же самое время в Латвии свободно могут общаться на своих языках все представители Европы. Чем не нацизм? Самый настоящий нацизм и есть, только пока там не убивают. Так что, дедушка, теперь нацисты другие, кричат они уже не «да здравствует Гитлер!», а «слава Украине!»

— Так это ж бандеровское приветствие! — всполошился Кузьмич.

— Всё верно. Теперь бандеровцев на Украине считают освободителями, а ветеранов Великой Отечественной — врагами. В Киеве целые факельные шествия проходят с портретами Бандеры и Шухевича.

— Ну и дела-а... Да это ж первые враги были! — возмутился Кузьмич.

— А теперь первые герои, особенно Бандера, — иронично ответила Нина.

Ветеран на мгновение оторопел:

— Кто герой? Бандера? Как это?

— Вот так. Герой Украины. В 2010 году президент Ющенко издал указ... Где-то у меня даже номер этого указа был записан. Так вот, согласно тому указу, Степан Бандера был посмертно удостоен звания героя Украины. Подождите, я сейчас в интернете найду.

Нина достала смартфон и подключила интернет. На какое-то время в кухне воцарилась тишина, в которой было слышно лишь сопение недовольного Кузьмича и урчание холодильника. Спустя пару минут Нина нарушила молчание:

— Вот. Нашла в «Википедии». Слушайте: «20 января 2010 года, незадолго до окончания своего президентского срока, президент Украины Виктор Ющенко издал указ за №46/2010, в соответствии с которым Степан Бандера посмертно удостоивался высшей степени отличия Украины — звания героя Украины, с формулировкой «за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, проявленные героизм и самопожертвование в борьбе за независимое Украинское государство». От себя Ющенко добавил, что, по его мнению, этого события долгие годы ждали миллионы украинцев».

— Чего-о?! — возмутился Кузьмич. — Ждали? Да миллионы советских людей ждали, когда этого Бандеру вздёрнут на первом суку! Это ж какой нелюдь был! Бандит из бандитов. Какой же он патриот?! Ты знаешь, что бандеровцы с людьми делали? На куски рвали, как бешеные собаки. У меня друзья с Украины седыми возвращались. Это не люди были, дочка, а садисты. Ну, брали мы в плен немцев, но ведь не издевались так. Ну, дашь немцу по шее, рожу начистишь или пинка под зад — и хорош. Но так, чтобы мучить, чтоб жилы из живых людей вытягивать, такого отродясь не было. Знаешь, как у нас этих бандеровцев называли? — Нина пожалала плечами. — Резунами. Потому что они людей, как скот, резали. Всё патроны, сволочи, экономили, боялись, что на выстрелы с соседних сёл военные прибегут. Учителей да комсомольцев с малыми детьми шинковать — вот и всё, на что они были способны. Герои хреновы...

Старик вспомнил, как в 1947-м поехал гонять бандеровцев на Западную Украину в составе военной контрразведки, куда его зачислили, вспомнив про его великолепную военную выучку и навыки фронтового разведчика.

— Эх, был бы я сейчас помоложе! — Кузьмич ударил кулаком по столу так, что брякнули ложки.

— Они только с бабами да мальцами могли воевать. Как говорится, молодец среди овец, а на молодца — и сам овца. Когда их потом вешали, они по земле ползали в собственном дерьме, всё пощадить просили или застрелить. Но их вешали согласно приказу, чтобы на себе прочухали, каково это — в петле болтаться. Те, кому они мотыгами животы вспарывали и кого пилами живых перепиливали, тоже просили их пощадить, но эти звери от крови только злее становились. Им мало было убить. Им удовольствие было человека замучить, чтобы он от боли с ума сошёл. А теперь они герои?!

* * *

Старый солдат знал, о чём говорил. От рук бандеровцев на Украине погибли тысячи мирных граждан, среди которых были не только русские. Бандеровцы убивали всех, кто, по их мнению, незаконно жил на украинских землях,

— поляков, евреев, а заодно и несогласных с политикой бандеровцев украинцев.

Методы борьбы с «врагами Украины» бандеровцы избирали садистские и самые изощрённые, превзойдя по жестокости инквизиторов Средневековья. В одной из польских книг, изданной уже после Второй мировой войны и посвящённой преступлениям бандеровцев, будет приведён целый список методов убийств, практиковавшихся последователями ОУН-УПА. Даже небольшого отрывка достаточно, чтобы понять, кем были по своей природе эти «патриоты»:

Вбивание большого и толстого гвоздя в череп головы.

Сдирание с головы волос с кожей (скальпирование).

Вырезание на лбу «орла» (орёл — это герб Польши).

Выбивание глаз.

Обрезание носа, ушей, губ, языка.

Прокалывание детей и взрослых колами насквозь.

Пробивание заострённой толстой проволокой насквозь от уха до уха.

Разрезание горла и вытягивание через отверстие языка наружу.

Выбивание зубов и ломание челюсти.

Разрывание рта от уха до уха.

Затыкание ртов паклей при транспортировке ещё живых жертв.

Сворачивание головы назад.

Размозжение головы, вкладывая в тиски и затягивая винт.

Резание и стягивание узких полосок кожи со спины или лица.

Ломание костей (рёбер, рук, ног).

Отрезание женщинам груди и посыпание ран солью.

Отрезание серпом гениталий жертвам мужского пола.

Пробивание живота беременной женщине штыком.

Разрезание живота и вытаскивание наружу кишок у взрослых и детей.

Разрезание живота женщине с беременностью на большом сроке и вкладывание вместо вынутого плода, например, живого кота и зашивание живота.

Разрезание живота и вливание вовнутрь кипятка.

Разрезание живота и вкладывание вовнутрь его камней, а также бросание в реку.

Разрезание беременным женщинам живота и высыпание вовнутрь битого стекла.

Особенно досталось от украинских боевиков полякам. Волынская резня, начавшаяся 9 февраля 1943 года и достигшая своего пика 11-12 июля 1943 года, затронула 176 населённых пунктов Волыни, унеся, по разным подсчётам историков, от 160 до 240 тысяч жизней поляков.

Из показаний командира отряда «Озеро», а затем главы ВО «Туров» Юрия Стельмашука по прозвищу Рыжий, виновного в истреблении пяти тысяч поляков; его отряд численностью семьсот человек 29-30 августа совершил нападение на польские сёла:

«...По указанию Командующего Военного Округа «Олега» вырезал поголовно всё польское население на территории Голобского, Ковельского, Седлецанского, Мацеевского и Любомильского районов, разграбив их всё движимое и спалив всё их недвижимое имущество...»

Из показаний Стельмашука следовало, что 29-30 августа 1943 года в указанных населённых пунктах его боевиками было убито «свыше пятнадцати тысяч мирных жителей, среди которых были старики, женщины и дети».

Впрочем, поляки не остались в долгу, ответив на Волынскую резню серией акций возмездия в юго-восточной Польше весной 1944 года. Тогда польскими националистами было убито от пятнадцати до двадцати тысяч украинцев. Жертвами противостояния стали в основном мирные граждане — женщины, старики и дети...

Согласно особым данным КГБ УССР, с 1944-го по 1953-й годы на Украине от рук украинских «бандпроявлений» погибло 30 676 человек. Из этого числа 3199 человек были военнослужащими, 2590 — бойцами истребительных батальонов, 697 — сотрудниками органов госбезопасности, 2732 — представителями органов власти, 1864 человека — сотрудниками МВД, 251 — коммунистами, 207 — комсомольцами. Кроме

того, от рук украинских националистов погибли 15 355 колхозников и крестьян, 676 рабочих, 314 председателей колхозов, 1931 представитель интеллигенции, а также 860 детей, стариков и домохозяйек...

* * *

Забывшись, Кузьмич в сердцах завернул крепкое словцо, тут же спохватился:

— Прости, дочка. Вылетело... Ну не могу я всё это спокойно слушать!

— Да ничего. У меня у самой иногда вылетает, когда об этих сволочах разговор заходит. Вы дальше слушайте. Нина продолжила читать: «Публика в зале, перед которой глава государства объявил о принятом решении, встретила слова Ющенко овациями. Награду из рук президента получил внук Бандеры Степан. Присвоение Бандере звания героя Украины вызвало неоднозначную реакцию и произвело широкий общественный резонанс как на Украине, так и за её пределами...»

Нина закончила читать и с нескрываемым раздражением положила телефон на стол.

— Резонанс у них широкий вызвало... Конечно, вызвало! Именно после этого на Донбассе и появились антиукраинские настроения. Хорошенькое дело — нацистов, которые людям животы вспарывали, младенцев вилами к стенам хат прикалывали и живьём с людей кожу сдирали, начали героями делать! Мы всё помним. И никогда им этого не простим. Простить такое — значит, попать память о тех, кто умер мученической смертью. Мы, когда узнали о том, что Бандере «героя Украины» дали, чуть дар речи не потеряли. Муж весь вечер матерился. И вот тогда люди поняли, что на Украине началось что-то страшное. Конечно, до майда-на было ещё далеко, но всем нам стало ясно, что обязательно что-то будет — какая-то беда. Так потом и случилось. И то, что сегодня на Украине происходит, это всё последствия указа Ющенко. Да, после прихода Януковича указ о присвоении Бандере звания героя Украины был отменён, но этот указ уже успел дать свои ростки, которые уже никак не удаётся вырвать. Вот если бы на Украине другой указ приняли — о том, чтобы всех бандеровцев считать пред-

ставителями террористической организации, вот это бы сразу многое поменяло.

— Ну и дела у вас творятся! — покачал головой старик.

— Сами удивляемся, — невесело ответила Нина. — В Киеве всё с ног на голову поставили. Теперь всё, что связано с Советским Союзом и с Россией, считается на Украине запрещённым. Георгиевские ленточки, ордена, символика советская, песни, любые звания советские, флаг — всё! Плохо им, понимаешь ли, при Советском Союзе жилось. Всё готовое от него получили, за четверть века независимости всё это проели, а теперь Россия у них — «оккупант». Все советские памятники поносили.

— И Сталину?

— И Сталину, и Жукову... Всем.

Кузьмич уронил голову в руки:

— Дожились, мать их! Это что ж получается, что я теперь враг Украины? Да что бы с ней было, если бы не Советская армия и товарищ Сталин? Они что там, с ума посходили, что ли?

— Не знаю, дедушка. Может, и посходили.

— Как же так вышло-то?

Кузьмич нервно закурил очередную сигарету.

Нина специально не охотилась за информацией на бандеровцев, но того, что она прочла об их зверствах, хватило, чтобы возненавидеть святой ненавистью этих «освободителей Украины». «Венок» из польских детей, прикрученных бандеровцами к дереву колючей проволокой за шею, долгое время стоял у неё перед глазами.

— Хуже всего, Гордей Кузьмич, то, что они этой идеологией даже вроде неглупым людям головы задурили, а те и не поняли, под чьи флаги встали.

— А куда же власти-то ваши смотрят, дочка? Неужели порядок навести нельзя? Есть же... не знаю... милиция... или как она там теперь у вас называется?... военные... Разве непонятно, что кровью пахнет? Кровью!

— Нельзя, Гордей Кузьмич. Сейчас на Украине не та власть. Они всё делают для того, чтобы бандеровцы окрепли, даже говорят, что за бандеровцев в Великую Отечественную чуть ли не вся Украина была, но это неправда. Большинство украинцев их ненавидели — боялись, запуганные террором.

* * *

Об этом же напишет в своей книге «Горькая правда. Исповедь украинца» Виктор Полищук:

«Существует потребность сказать правду. Горькую правду для украинцев, для украинского народа. И о ней скажу я — украинец. Эта правда горька для украинцев, потому что ОУН-УПА — это не только западноукраинское явление, ОУН-УПА в своей пропаганде пыталась проповедовать, что она действует от всего украинского народа, от его имени, что она, ОУН, является выразителем интересов всех украинцев, что УПА — это армия украинского народа. Поэтому я, украинец, хочу этому возразить. ОУН ни для меня, ни для нескольких десятков миллионов украинцев никогда не была родной. УПА никогда не была армией всех украинцев...

Мне стыдно за то, как поступили мои земляки во время войны. Мне стыдно за тех, кто вёл евреев на казнь. Стыдно за действия УПА, стыдно за ОУН, которая виновна в смерти поляков, евреев, россиян, украинцев. Я скажу словами В. Коротича, что мне стыдно за людей, которые из национальности делают профессию. Моё украинство должно соединять, в частности, с поляками, нашими соседями, а не противопоставлять меня другим. Я готов был молчать о преступности ОУН и преступлениях УПА, я хотел об этом забыть, надеясь, что вместе со смертью тех, кто организовал преступления, кто принимал участие в них, перестанет существовать проблема. У меня была надежда, что молодое поколение украинцев и поляков будет жить в согласии, в мире. А между тем... Те из старого поколения не только не ведут к согласию, но и делают из преступлений предмет героизма».

В своей книге Виктор Полищук приведёт выдержку из книги украинского писателя Олеся Гончара «Людской крови не смыть»:

«...Истории известно много примеров того, как приверженцы фальшивых человеконенавистнических доктрин неминуемо скатывались в болото вырождения, деградации, из «борцов за идею» превращались в обычных бандитов, палачей, убийц,

запятнанных бесчисленными преступлениями перед своим народом и человечеством... националистические детоубийцы, мучители, которые чем дальше, тем больше деградировали в своих жестокостях, в садизме, окончательно теряли человеческое обличье и не останавливались ни перед чем, не признавали ни морали, ни закона, ни права, кроме права ножа и штыка...»

* * *

Нина чувствовала, что завелась в разговоре с Кузьмичом. Она и понимала, что пора сворачивать эту тему, чтобы не увязнуть. Но теперь остановиться не могла — ей надо было выговориться и рассказать хотя бы одному человеку в России правду:

— ...Это всё, Гордей Кузьмич, западные спецслужбы сделали, чтобы два народа сравнить. Вот и начали тему Бандеры раскручивать на самом верху. Сначала Ющенко ему «героя» посмертно дал, потом другие дураки подхватили — и понеслось. Кому-то очень нужно, чтобы России не стало, чтобы она с Украиной начала враждовать, а лучше — воевать. Одни это делают из политических соображений, другие — из шкурных. За русофобство сегодня очень хорошо платят. Иногда я думаю: какие же люди глупые! Неужели они всего этого не понимают?! Но люди действительно не понимают, потому что их одурманили, обманули фальшивками про «хорошего патриота» Степана Бандеру. Мол, он был против фашистов в войну, никого не убивал... мол, это всё «фальшивки» России, которая якобы переписывает историю. Но, слава Богу, есть государственные архивы, есть кучи книг и официальных документов не только в России, но и в Германии, в США, которые подтверждают, что Бандера был пособником фашистов и убийцей. Из-за его жестокости его сами немцы от «дел» отстранили, изолировав сначала в Берлине, потом — в концлагере.

Прикрыв своей ладонью руку Нины, Кузьмич остановил её:

— Дочка, ну, так если всё известно... Если, как ты говоришь, и архивы с документами живые, то почему все молчат? Почему в колокола не бьют?

Нина вздохнула:

— Это политика, дедушка. Просто политика. Говорить правду о Бандере нынешним украинским властям невыгодно. Если люди будут знать о нём правду, они под его знамёна не встанут и тлеющего конфликта с Россией не будет. Одно радует: на Украине ещё не все с ума сошли, есть там думающие люди — те, кто помнит, кто такой советский солдат, как русские с украинцами вместе фашистов с Украины гнали. Ещё придёт время, когда на Украине нормальные люди возьмут власть в свои руки.

* * *

Работая над будущей книгой о Великой Отечественной, Нина не раз наткнулась на архивную переписку немцев, в которой они рассказывали о действиях бандеровцев. Однажды ей в руки попало издание под названием «Украинские националистические организации в годы Второй мировой войны. Том I. 1939 — 1943», в котором приводилось секретное донесение начальника Полиции безопасности и СД IV A 1 — В.№ 1 В / 41 g.Rs. о положении на оккупированной территории СССР, о действиях украинских националистов и различных органов местной украинской администрации, направленных против евреев и коммунистов (г. Берлин 18 августа 1941 г.).

«Украинская милиция не прекращает грабить, насиловать, убивать. Украинские бургомистры и коменданты милиции привлечены к ответственности за враждебные высказывания о немцах, неисполнение немецких предписаний, уничтожение немецких паспортов. Поляков приравняли к евреям и заставляют, например, тоже носить повязки на рукавах. Во многих местах украинская милиция создала такие подразделения как «Украинская служба безопасности», «Украинское гестапо» и многие другие. Местные и полевые коменданты частично разоружают милицию. В Лемберге ОУН продаёт марки Фонда борьбы за освобождение и распространяет листовки, в которых требует возвращения Бандеры. Из Лемберга расходятся плакаты, смысл которых в том, что под руководством ОУН возникнет «Свободная и независимая Украина» под лозунгом «Украина украинцам». Ча-

сто предписания вермахта не выполняются, а награбленное имущество рассматривается как личная собственность. В Луцке полковник в отставке Дьяченко пробовал централизованно управлять милицией». (ВА. R 58/216. Bl. 75—78.)

* * *

Задумывая свою книгу, Нина хотела одного — встряхнуть общество, отравленное мирной жизнью и лишённое памяти о войне, о которой молодёжь не знает практически ничего. Может быть, поэтому она и была так эмоциональна в разговоре с Кузьмичом:

— ...Проблема в том, что многие даже не понимают, что они по сути своей фашисты. Они думают, что они патриоты, которые спасают Украину от сепаратистов и террористов на Донбассе... А то, что Донбасс к России прислонился только потому, что украинские власти стали русских за русский язык притеснять и бандеровцев на руках носить, этого как-то никто не хочет брать в расчёт. Самое страшное в том, что все эти современные шухевичи и бандеры молодёжи головы задурили своими лозунгами. Для молодёжи всё это — игрушки, адреналин, вроде уличной детской войнушки. А что молодёжь? Она верит. Если со всех телеканалов говорят, что Россия — враг Украины, даже не захочешь, а начнёшь в это верить. Вот и получили тысячи современных нацистов, которые потом и идут в нацбаты и карбаты с нашивками «Рабовластник». Убивают всех, кого посчитают врагами Украины.

— Дочка, ты уж меня прости. Я ж опять тебя не понял. Как ты там сказала? Нац... Как?

— Нацбаты?

— Во-во! Они самые!

— Нацбаты — это националистические батальоны. А ещё есть добробаты — добровольческие батальоны. Потом тербаты есть — территориальные. Есть карательные батальоны — карбаты.

— Погоди, дочка! Как же это — карательные? Каратели, что ль? Настоящие?

— Самые настоящие. У нас их кто карателями зовёт, кто бандеровцами. Каких только нет — «Азов», «Айдар», «Днепр», «Донбасс», «Правый сектор». Я уж всех и не помню. Называют-

ся они по-разному, а по сути, все они одного поля ягоды — бандиты и убийцы. Многие идут в эти батальоны только для наживы. Заняли какой-нибудь населённый пункт, людей ограбили и дальше пошли. Кого ни послушаешь — все за Украину, только все до единого мародёрствуют, женщин насилуют, мужиков до смерти пытаются. Хорошо, если просто застрелят, а то ботинками запинаят или прикладами забьют. Особо лютовали айдаровцы и правосеки. Говорят, многие из них под наркотиками были. Эти просто звери. У них в телефонах — они сами фото и видео снимали — ополченцы видели такое, что потом даже взрослые мужики плакали. И повешенных, и заживо сожжённых... Когда в мае 2014-го нацисты в Одессе сожгли людей в Доме профсоюзов, нам стало понятно, что прежней Украины больше нет и уже никогда не будет. Когда людей начали запросто убивать за русский язык, за православную веру, за георгиевские ленточки, за медали и ордена, которые ветераны завоевали в войне против фашистов, такое даже в самом страшном сне никому привидеться не могло. И вот в этом ужасном сне, дедушка, Украина живёт уже несколько лет. И весь этот ужас они называют патриотизмом. Возьмут ветерана девяностолетнего и за волосы оттаскают, ордена с него сорвут, унижат принародно, а то и на колени насильно поставят, а потом считают, что они родину от очередного врага спасли. Вот какие там сегодня «герои», Гордей Кузьмич.

— Да-а уж... Дела-а, — задумчиво сказал ветеран, проведя рукой по заросшему седой щетиной подбородку. — Это мы виноваты, дочка... мы — советские солдаты. Недоглядели, не добились мы этих бешеных собак в сорок пятом.

— Нет, дедушка. Просто мир стал другим. Всё это специально делается. Это всё политика.

— В гробу бы я её видал, политику такую, — буркнул Кузьмич. — Это ж какое дело развели — людей по национальностям делить! С ума сошли. Чем украинец лучше русского? А ежели бы они не украинцами родились, а китайцами? Или индейцами? В наше время такое и в страшном сне бы не приснилось. У нас в одном окопе, почитай, весь Советский Союз был. Кого только не было — и русские, и украинцы, и белорусы с грузинами, и молдаване с таджиками, и

киргизы с казахами. Даже бурят был. Как шас помню, Нима Дабаев. Он у нас в разведгруппе следопытом был. А какой снайпер! Таких шас и нету. Часами мог в снегу лежать. Оденется в белый маскхалат — и не видать его. Пульнёт и меняет позицию. Всё зарубки на прикладе своей винтовки делал. Я как-то считал, штук пятьдесят у него зарубок точно было.

Кузьмич по-старчески закричал, снова закутив.

— Слушаю я тебя, дочка, и жалею о том, что не знаешь ты, как дружили в наше время. Оно, конечно, всякое было. И подлецов хватало, и честных людей, но не было у нас деления на русских и нерусских. У нас было две национальности — «хороший человек» и «плохой человек». Вот и вся национальная политика.

Ветеран вспомнил свой сборный полк, состоявший из представителей почти всех советских республик, которых набрали из резервных и разбитых частей по всем фронтам. Вспомнил старик и своего друга-горца из села Цицкури Харагульского района Грузинской ССР:

— ...Был у меня на фронте друг грузин. Звали его Резико Чиковани. По-грузински Резико значит «великий». Много чего мне Резико про Грузию рассказывал, про блюда национальные, про традиции свои, про своё горное село... Сейчас уже и не вспомню — столько лет прошло, но тогда мне было так интересно, что я мог Резико часами слушать. Говорил он, как бы это сказать... Как артист, что ли, — с жестами, с улыбкой. Было в Резико что-то особенное — горячее, актёрское... Его в нашей роте так и звали — Артист. Красивый такой мужчина был. Высокий. Глаза чёрные, как у орла. Нос как нож: большой, а кончик острый. Зубы большие и белые-белые. Усики носил ниточкой, хотя у нас это было не положено. Всё их подбрасывал... И весь лохматый был — волосы аж из-под воротничка торчали. Даже на спине росли. — Вспомнив «заросли» Резико, Кузьмич хрипловато засмеялся. — А бабник был! Поди, таких и нет больше. Увидит кого из женского пола — сразу, как гончая, стойку делает и — за ней. Нарвёт цветов — и давай амуры наводить.

Слушая Кузьмича, в глазах которого заиграли мальчишеские искорки, Нина невольно улыбнулась. Стараясь не нарушить рассказ фронто-

вика, она превратилась в одно сплошное почти бестелесное молчание, ловя каждое слово.

— ...А как пел! — продолжил Кузьмич. Старик задумчиво посмотрел в окно, вспомнив передышки между боями, в которых Резико лечил души однополчан грузинскими песнями. — Позовёт своих земляков, да как затянут по-грузински, аж дух захватывает. Так у них всё красиво было, да на разные голоса... Прямо как в театре. Они и романсы пели. Если у кого из офицеров день рождения случался, так их сразу звали... А потом Резико не стало. — Кузьмич сделал долгую затяжку и закашлялся.

Выждав паузу, Нина осторожно спросила:

— А что с ним случилось?

— Сгубила его любовь к женщинам.

— Как это?

— А вот слушай. Случилось это в конце июня 1944 года. Мы тогда Витебск освобождали. Бои тогда были сильные... Заходим в какое-то село, из которого незадолго до нашего прихода истребительный батальон немцев выбил. Выдалась небольшая передышка. Расположились. Кто чем занялся. Одни оружие давай в порядок приводить, другие форму латать, третьи спать упали. А тут сестричка Надя появилась из санчасти. После каждого боя она в обязательном порядке всех обходила: нет ли у кого каких ранений? Такая была хорошая девушка, так ответственно работу свою выполняла! Настоящая медсестра. Скольких бойцов она на себе с поля боя вытащила — пальцев не хватит сосчитать. Перевернёт раненого на плащ-палатку и тянет. И откуда только силы брались! Маленькая вроде, а бойкая. Постоянно с нами была: «Как же, — говорит, — ребятки, я вас одних оставлю? Вы без меня совсем пропадёте. А ежели вас ранит, кто вас перевяжет?» Мы — в атаку, и она — за нами. Привыкли мы к ней так, что потом начали её беречь пуще Красного Знамени. Особенно Резико старался, больно уж Надя ему нравилась. Он-то к ней со словами и без слов, а она — ни в какую, как ко всем — так и к нему: официально, исключительно по-товарищески. В общем, зашли мы в село, а тут Надя увидела, что у Резико кровью вся штанина пропиталась: «Давай, — говорит, — кацо, посмотрю, чего там у тебя». Он в горячке-то во время боя и не почувал, как ему ногу осколком выше щиколотки прошило.

Ранение лёгкое было, но неприятное. Какой-то сосуд крупный разорвало... В общем, Надя его перевязала, а он от счастья аж засветился. Так улыбался, можно было вместо лампочки в светильник вкручивать. Сидит, аж не дышит. Улыбка до ушей, и мне втихушку взглядом на Надю показывает, пока она ему ногу бинтом крутила: мол, дождался своего счастья.

Кузьмич скорчил такую смешную гримасу, копируя поведение Резико, что Нина невольно засмеялась:

— Ой, Гордей Кузьмич! В вас актёр умер.

— Отчего ж умер? Жив иш-шо! Я хоть чичас в цирке могу выступать.

Кузьмич сделал затяжку и выдохнул три кольца из дыма, которые медленно поплыли по кухне и растворились в воздухе.

— Видала? А ты говоришь, помер...

— А дальше-то? Дальше что было? — прервала неожиданную паузу Нина, которой не терпелось узнать, что же случилось с Резико.

— Дальше-то что было? Так обед был. Все собирались к полевой кухне, а Резико побежал на поле за цветами для Нади. Помню, ещё обернулся и крикнул мне: «Кацо, мнэ тарэльку каши вазми! И чай!» Минуты не прошло, слышим: взрыв. Я обернулся, а над полем дым поднимается, и тут сверху комочки земли посыпались. Все поначалу подумали, что это немцы минами лупят. Кто-то крикнул: «Немцы!» Ну, рота — сразу в ружьё, а оказалось, что это Резико на mine подорвался, которую немцы у дороги вкопали. Пока разобрались, что к чему, минуты две-три прошло. Вспомнили, что Резико за цветами побежал и — бегом на поле. Подбегаем к месту взрыва, видим нашего Резико. Он уж доходил. С него взрывом почитай всю форму сорвало. Так, лоскуты какие-то остались... Весь в крови был. Ему взрывом обе ноги оторвало, левую руку и живот разорвало. Лежит, как рыба, на берег выброшенная, воздух ртом хватает, глаза от боли безумные. Кишки из него, как толстые розовые черви, вывалились. Мы столбом встали. Чего делать, никто не понимает. А что тут, по идее, сделаешь — помирает человек. Тут Надя подбегает. Растолкала нас и, знаешь, как увидела его, вся белая с лица сделалась. Давай она ему раны руками зажимать, а кровь сквозь пальцы хлещет. Кричит нам: «Что же вы стоите? Паке-

ты перевязочные тащите, носилки!» И тут он говорит ей: «Не надо, Надя... Я всё равно умру». Потом через силу улыбнулся и добавил: «Я хотел вам цветов нарвать. Я хотел вам сказать... Я вас люблю». Сказал, вздохнул пару раз глубоко и помер.

Вспомнив эту сцену, Кузьмич почувствовал, как на глаза невольно навернулись слёзы.

Тогда у многих нервишки сдали. Крепкую Надю, из которой обычно слезинки не выдавить, задушили поздние бабьи рыдания. Бойцы увели её в палатку под руки, сдали доктору, который долго отпаивал её валерьянкой. Плакали и некоторые бойцы, для которых Резико был больше чем друг и однополчанин.

Вместе с Резико умерло что-то доброе и светлое, напоминавшее советским воинам о любви, доме и мирном времени. Больше никто так не споёт и не насмешит, никто не расскажет о солнечной Грузии и не станцует грузинский танец аджарули под бой, будто барабанный, который земляки ладонями выбивают на пустых вёдрах и касках. Так мог только Резико, которого каждый запомнил улыбчивым, сильным и смелым человеком, умевшим подарить радость.

Однажды в каком-то селе Резико сумел выпросить у председателя сыра и муки, а уже через несколько часов рота уплетала хачапури...

Весь вечер бойцы будут вспоминать Резико, его шутки, песни и ухаживания за женщинами. Надя до ночи будет плакать в палатке, коря себя за то, что не нашла для бравого грузина ласкового слова.

Похоронили старшину Резико Чиковани на местном кладбище в присутствии офицеров, дали в его честь несколько залпов из винтовок. От кладбища шли молча, унося в своё сердце память о хорошем человеке и настоящем воине, который для каждого сумел стать почти родным...

— ...Глупо, конечно, помер Резико, — вздохнул Кузьмич, затушив очередной окурочек. — Пил бы сейчас свою любимую чачу и ел хинкали. Но повоевать он успел и фашистов на тот свет отправил не одну вязанку. Воин он был храбрый. Первым в атаку поднимался, а в рукопашном бою был как тигр. Зубами фрицев рвал.

* * *

Через много лет после гибели Резико в одном из военных журналов Кузьмич прочтёт о том, что в годы Великой Отечественной на фронт из Грузии, потерявшей в войне с Германией десять процентов населения, ушли четыреста тысяч человек. До Победы не дожил каждый второй грузин. Среди сынов Грузии были не только известные учителя и врачи, но и знаменитые поэты. В 1944 году во время операции «Багратион» при форсировании Западной Двины погиб грузинский поэт Мирза Геловани. Строчки из его стихотворения «Разговор с Иори» ещё много лет после смерти поэта будут цитировать в школах и на митингах, посвящённых Победе:

*...И небеса над нами голубели,
и плыли облака издадека,
и ты была мне вместо колыбели,
моя Иори, горная река.*

Похоронят Мирзу Геловани у дороги в белорусском лесу: его останки перенесут в братскую могилу у села Санники Витебской области лишь в 1952 году.

Двумя годами ранее, в мае 1942 года, в боях за Севастополь у Сапун-горы погиб ещё один грузинский поэт, сельский учитель грузинского языка и литературы Георгий Напетваридзе.

Из записок Георгия:

«Когда меня призвали в армию, я знал и ожидал этого, и всё предусмотрел наперёд. Но даже несмотря на это всё произошло неожиданно для меня. Была ночь воскресенья, меня вызвали в половине третьего. Нателла остолбенела. Я должен был явиться туда к трём часам. Я тотчас вышел. Нателла провожала меня в слезах до ворот. Я поцеловал её в лоб, махнул рукой и ушёл... Шёл по дороге один, курил папиросу, ни о чём не думал. Нигде не горели свечи, не лаяли собаки, не кричал петух. Я никого не встретил. Слышал только шум моих шагов в тишине. И это воспоминание осталось в моей памяти как самый неповторимый и несбывшийся сон в ветреную ночь...»

О том, как сражались и умирали представители союзных республик, будет написано немало журналистских заметок, а потом и художественных книг. В красноармейской газете «Советский патриот» будет напечатана заметка, посвящённая одному из боёв за Украину:

«Хасамбай Исаметдинов, хлопкороб из Ферганы, никогда не бывал ранее на Украине. Война привела его на берега Днепра, породнила его с этой землёй.

...Уже отчётливо видны были траншеи противника, когда внезапно обрушившийся вражеский огонь заставил залечь бойцов. Прижавшись к пожелтевшей, опалённой порохом траве, Хасамбай Исаметдинов огляделся вокруг и увидел в нескольких шагах от себя тело командира.

— Убит... — мелькнуло в сознании бойца. — Кто же поведёт взвод?

Решение созрело мгновенно. Исаметдинов вскочил на ноги и с громким криком: «Юр!» («Вперёд») побежал по изрытому снарядами полю. Немногие из бойцов поняли это узбекское слово, но отважный отважного поймёт всегда. Взвод ринулся вслед за Хасамбаем Исаметдиновым, и в короткой схватке ещё один рубеж был отвоёван у врага».

* * *

— ...Гордей Кузьмич, — вдруг оторвала фронтовика от воспоминаний Нина, — а вы помните первого убитого фашиста?

Помедлив с ответом, ветеран раздавил пальцем в пепельнице окурков, негромко сказал:

— Помню...

На кухне наступила долгая пауза.

— Вам неприятно это вспоминать? — спросила Нина, почувствовав состояние замолчавшего старика.

— Есть такое дело.

— Если хотите, можете о чём-нибудь другом рассказать.

Кузьмич усмехнулся:

— О чём другом? О таблетках моих? Так об этом лучше с моей докторшей поговорить.

Нина поняла, что своими расспросами невольно влезла в незаживающую рану фронтовика.

— Короче говоря, — нехотя продолжил Кузьмич, — случилось это 20 октября 1943 года во время штурма Мелитополя. Дату эту, будь она неладна, я на всю жизнь запомнил. Ой, сколь народу там полегло! — Кузьмич замотал белой головой. — В этот день был мой первый в жизни бой, а бои тогда, скажу я тебе, дочка, страшные были. Мы этот Мелитополь, растуды его в качель, как Берлин брали. Сколь лет прошло, а я не знаю, как нам тогда выжить удалось. Вот уж где кровь действительно рекой лилась! Нас тогда только-только на Украину из учебки привезли. Сгрузили из вагонов на вокзале, и — в бой. Но одно дело — учебка, а другое — настоящая война. Каждый её по-своему представлял, а она, вишь, для всех одинаковой оказалась. На вокзале вылезли, кругом грохот, взрывы... Построились, пересчитались. Всем сразу оружие выдали. Загрузились мы в машины и — на передовую. Пока ехали, со всех улыбки как ветром сдуло. Не до улыбок, когда кругом всё громыхает. Понятно, не к тёще на блины везут. В любой момент прихлопнуть могут. Помню, я в свой ППШ руками вцепился и только об одном думал — лишь бы никто не увидел, что мне страшно... Привезли нас на место. Всё гремит, воет, кругом дым, гарь, резиной жжёной пахнет. Построились, разбились на подразделения, получили боеприпасы, и сразу в бой.

— И что, даже не поели? — удивилась Нина, в которой в этот момент заговорила уже не писательница, а обычная женщина.

— Голуба ты моя, — ласково сказал Кузьмич, грустно улыбнувшись, — мы там и по паре дён не ели.

— Как это — по паре дней? — возмутилась Нина.

— Вот так. Мы ж не на курорт поехали, а на войну.

— Это понятно. Но кормить-то всё равно людей надо!

— Надо. Конечно, надо, но некогда было. Приказ поступил — выбить немца из Мелитополя. И точка. Приказы не обсуждаются, а выполняются. Там не до еды нам было. Есть вода во фляжке — и ладно, а иногда и воды не было. Немец ждать не будет. Пока ты с миской за щами будешь по тылам бегать, он уж всё, что отвоёвано с боем, взапятки вернёт. Конечно,

менялись иногда, чтобы подкрепиться и отдохнуть или перевязаться, но иногда и некогда было подмену делать, а иной раз и вовсе некому — там народ пачками убивали. Я ж говорю: лупил нас там немец, только руки-ноги отлетали. Это в первых советских фильмах немцев идиотами показывали, а они, скажу я тебе, умели воевать. Там у них такие асы были, которые ещё в Первую мировую опыта понабрались. Думаешь, они просто так почти всю Европу под себя подмяли? Наших за всю войну двадцать мильёнов погибло, а их скока? Шесть-семь. Вот так-то! Немец — вояка сильный и умный, который умеет думать, подчиняться и выполнять поставленные задачи. Одного они не умеют — выводы из истории делать. Им ещё на Чудском озере надо было остановиться, а они снова на нас поперли и снова по носу получили...

Нина улыбнулась, кивнув головой:

— Это точно вы говорите...

Кузьмич, в душе которого Нина устроила настоящие «раскопки», рассказывал неторопливо, явно подбирая слова. Ему хотелось рассказать своей молодой гостье о многом — может быть, даже обо всём, но страх, поселившийся в нём с тридцать седьмого года, до сих пор приказывал ему держать язык за зубами. Тот же самый страх, вьёвшийся под кожу и впитавшийся в самую кровь советских людей, искалеченных репрессиями и слежкой гэбистов, приказывал молчать и другим фронтовикам, многие из которых так и не расскажут о боях в Великой Отечественной своим близким ни слова, боясь, что за правду их посадят.

Боялся и Кузьмич, но старик так устал жить и бояться, что впервые в жизни решил плюнуть на все свои боязни и рассказать Нине о том, как всё было на самом деле, умолчав лишь о некоторых моментах.

* * *

Воспоминания, в которые нырнул старый фронтовик, вновь перенесли его в опалённый октябрь 1943 года.

Вот Гордей Громов снова бежит со своим ППШ по разбитым улицам горящего Мелитополя мимо окон, из которых вырываются языки жаркого пламени, мимо пылающих танков, раз-

вороченных взрывами снарядов орудий, мимо тел убитых немцев и советских солдат... Спотыкаясь о трупы и куски ломаного кирпича, Гордей падает, разбивая себе о мостовую колени и руки, снова встаёт и снова бежит, чтобы не отстать от своих, инстинктивно пригибает голову при взрывах.

Пули будто осы, они свистят, цокают о стены, оставляют в них глубокие отверстия, откалывая куски кирпича и выбивая «фонтанчики» рыжей пыли...

Грохот от выстрелов танков и пушек, стрельба автоматов и винтовок, разрывы мин, снарядов и авиабомб, вой самолётов, крики живых и стоны раненых, шум пламени и треск горящего дерева, топот ног, шелест одежды, кланье затворов и тысячи других звуков войны слились в один сплошной гул, заполнивший собой всё.

Как и другим бойцам, Гордею было страшно. Пройдёт совсем немного времени — и он уже не будет пригибаться, услышав взрыв или выстрел, но сейчас именно страх придавал ему силы, включая все внутренние резервы восемнадцатилетнего бойца на полную мощность. Страх заставлял думать и принимать решения в какие-то доли секунды...

Впереди вдоль улицы прямой наводкой бил по нашим позициям немецкий танк, рядом трещал, мерцая на конце ствола пульсирующим огоньком в виде пылающего цветка, пулемёт. От выстрела перед танком поднялось облако из пыли, рваной бумаги и листы. Внутри Гордея подпрыгнули внутренности. Бойцы упали на брусчатку, прячась за обломками стен и остатками искорёженных взрывами орудий. Вместе со всеми, прижимая к себе свой ППШ и прикрывая каску рукой, упал на грудь разбитого кирпича и Гордей. В это время сзади кто-то сорванным голосом закричал:

— В ата-аку-у! Вперё-ё-д!

...Мелитополь был важнейшим форпостом в системе обороны немцев на Восточном валу, который частично был возведён германскими войсками осенью 1943 года и получил название — линия «Вотан». На нескольких участках линия «Вотан», находившаяся в полосе действий немецкой группы армий «А» и группы армий «Юг», проходила по рекам Днепр и Молочная. Гитлер возлагал на

эту оборонительную линию большие надежды. По замыслу фюрера, немецкий оборонительный рубеж должен был послужить надёжным и мощным заградительным барьером, который защитит Европу «от большевизма».

Оборонительный вал представлял собой сложную систему проволочных заграждений из двух, часто трёх полос, противотанковых рвов, бетонных надолбов, дотов, дзотов, противотанковых и противопехотных сооружений и минных полей. К этому добавлялась разветвлённая сеть траншей и блиндажей, соединённых между собой проходами. Протянутая от Азовского моря вдоль правого берега реки Молочной до Днепровских плавней линия «Вотан», соединившись с линией «Пантера», должна была создать непрерывный вал от Азовского моря до Балтийского.

Взятие линии «Вотан» стало для командования Южным фронтом задачей номер один.

Приказ о наступлении советских войск на реке Молочной был отдан Ставкой 26 сентября в 10 часов утра. После мощной артподготовки при поддержке авиации войска 5-й ударной, 44-й и 2-й гвардейской армий перешли в стремительное наступление, атаковав позиции немцев на переднем крае их обороны. В ответ немцы открыли ураганный огонь. Атака, на которую советское командование возлагало огромные надежды, оказалась под угрозой полного срыва. Продвижение советских частей, которым в тот день удалось вклинуться в оборону немцев лишь на два-четыре километра, было задержано.

Огромную роль в срыве наступления советских войск сыграла немецкая штурмовая авиация. Группами от двадцати до ста сорока самолётов немцы атаковали наступающие советские войска и ближайшие тылы. В тот день силами воздушного наблюдения было зафиксировано более девятисот самолёто-пролётов врага.

С большими потерями советским войскам удалось продвинуться на глубину от двух до трёх километров. Советским войскам будут противостоять 13-я и 17-я танковые дивизии, 79-я, 9-я и 93-я пехотная, 101-я егерская и 3-я горная дивизии вермахта. В течение дня немцы будут не один раз переходить в контратаки силами от батальона до полка при поддержке от пятнадцати

до тридцати танков. В эти дни системами воздушного наблюдения будет отмечено до тысячи самолёто-пролётов люфтваффе.

Понимая, что начатую операцию нужно завершить во что бы то ни стало, командование Южным фронтом примет решение ввести в бой механизированные соединения 20-го танкового и 4-го гвардейского механизированного корпусов. Кроме того, будет решено перебросить части резервной 51-й армии. Однако вскоре командование фронта будет вынуждено отказаться от участия в операции мотомеханизированных соединений, неспособных преодолеть противотанковые сооружения. Главная надежда будет на авиацию и артиллерию. В помощь советской пехоте будут переброшены 152-миллиметровые гаубицы МЛ-20, предназначенные для разрушения немецких оборонительных сооружений с дальних расстояний.

Основной проблемой советских войск стали танки 6-й немецкой армии. Мехчасть немцев была представлена 36 танками Pz.III и Pz.IV, 118 «Пантерами» и 98 «Штурмгешюцами». Кроме того, 6-я немецкая армия была усилена новейшими 88-миллиметровыми противотанковыми пушками ПАК-43. Особенность этих орудий заключалась в их способности поражать практически любой советский танк с дальних дистанций. Минусом этих пушек была их массивность и неповоротливость. Таких орудий в прибывшей из Крыма 101-й легкопехотной немецкой дивизии было шесть, а в 17-й пехотной — одиннадцать.

Два первых дня ожесточённых боёв на реке Молочной не принесут советским войскам особых успехов. Брошенные в пекло сражения тысячи «штрафников» и «чернорубашечников» — плохо обученных юнцов, одетых во что попало, лишь пополнят число бессмысленных потерь, с которыми советское командование, увы, не считалось. Пять патронов на брата и часто одна винтовка на двоих-троих — вот та мизерная норма, которую выдавали советскому пушечному мясу. Многим штрафникам оружия не давали совсем: что найдёшь — из того и стреляй. Главное — выполнить приказ и искупить свою вину перед Родиной кровью. Спустя десятилетия появятся свидетельства следопытов-поисковиков, которые обнаружат на местах сражений на реке

Молочной один из видов оружия советских бойцов — деревянные палки с привязанными к ним железными штырями. Неудивительно, что почти все эти «вояки» погибнут под пулемётным и миномётным огнём немцев.

В тех жестоких боях на Молочной практически в полном составе погибнут шесть мужских подразделений «штрафников» и «чернорубашечников». Ради генеральских амбиций погибнут и сотни девушек-штрафниц, их останки лишь десятки лет спустя найдут на местах раскопок поисковики. О том, что это были именно девушки, станет известно по деревянным гребешкам с выцарапанными на них женскими именами — Валя, Таня, Рита... Таких гребешков поисковики найдут целый мешок.

За три недели «мясорубки» на реке Молочной не было ни одной сводки Совинформбюро, словно не было жестокой бойни и сотен тысяч погибших советских бойцов. Позже станет известно о том, что приблизительные цифры потерь Красной армии на линии «Вотан» составят от двухсот до четырехсот тысяч человек. Позже военные историки подсчитают, что на реке Молочной погиб каждый сотый советский воин.

Причины таких колоссальных потерь историки будут объяснять обескровленностью советских частей после битвы за Донбасс, мизерным подвозом боеприпасов и оружия, а также приказом командования взять Мелитополь «любой ценой». К сожалению, цена освобождения Мелитополя, жестокие бои за который будут продолжаться десять дней, будет невероятно высокой и столь же невероятно неоправданной...

О том, как воевали советские бойцы на линии «Вотан», станет известно из дневника участника тех боёв Василия Малика:

«...Кормили раз в день — ночью. Давали сухари, селёдку, кашу и очень мало воды. А два дня совсем не привозили. На немецкой стороне — бахча, на нашей — кукуруза. Может, эта кукуруза и спасла жизни нашим необученным солдатам. На наши позиции налетели немецкие пикирующие бомбардировщики «Штука». Было интересно наблюдать, как они перестраиваются и камнем падают, скидывая бомбы на наши окопы. Я как-то не очень боялся. Хотелось стрелять из винтовки. Но патронов нам выдавали всего по пять штук, и

винтовка была не у каждого. Я и сейчас не помню, как мы из второго эшелона во время наступления оказались в первом. Бежали, кричали и все, нас тридцать человек, прибежали на немецкие позиции. А там только, наверное, располагались обе-дать: стоят котелки — мясо, картофель — горя-чие, вино, водка, что хочешь. Я взял три котелка картошки, две фляги воды и немецкий штык-кинжал, и мы отступили на свои позиции. Нашёл своего земляка-друга Голинко Ивана Ивановича, и мы наелись и особенно — напились воды. Другие пили водку, и некоторых тут же побило — пьяно-му море по колено».

В другом месте Василий Малик в мельчайших подробностях опишет атаку:

«...Из винтовки выстрелил по бегущему немцу вдоль своих окопов три раза. Осталось два па-трона. Вот и команда «Вперёд, в атаку!» — мало кто вылез из траншеи. Пошли вперёд два тан-ка, которые немцы сразу же подожгли. Один раз сыграла «Катюша», и батарея выпустила штук двадцать снарядов, вот и вся огневая поддержка. А по траншее бегают пьяный какой-то майор с пистолетом в руке: «Вперёд, стрелять буду!» Мы с Иваном побежали. Немного погодя его ранило в бок и руку. Я его оттащил в сторону, в воронку, перевязал. Он заснул, я побыл с ним больше часа, разбудил. Приказ был, чтобы около раненых не останавливаться, кто бы он ни был — подберут санитары, которых я ни разу не видел. Я попрощался с Иваном и пошёл вперёд. Домой он не вер-нулся, считается как без вести пропавший».

Ещё одним свидетелем бойни на реке Молоч-ной, которую штурмовали юнцы и сорокалет-ние мужики из Приазовья, станет, погибший 27 октября 1943 года Стефан Артёмович. В своём последнем письме он напишет:

«...Пролежал раненый в окопчике, он был на нейтральной полосе, до начала сумерек. Стали по одному солдаты выбегать из кукурузы и бежать к своим. Я с трудом поднялся со дна, а на боль-шее сил нет. Стою, а голова кругом идёт, боль в тазу. Всех пробегающих прошу взять меня с собой, но никто не обращает внимания. Так мне стало жалко себя! Пробежала очередная группа, и тоже

не взяли, а сзади лейтенант бежит. И я впервые в жизни заплакал с горя, он остановился, позвал двух бойцов и поручил им доставить меня в сан-часть».

О непростом положении на реке Молочной позже станет известно из письма бухгалтера со-вхоза имени Розы Люксембург из Новоазовско-го района Донецкой области Стефана Лекарева от 27 октября 1943 года:

«Здравствуйте, моя — нет слов для выражения — дорогая семья. Шлю вам всем привет с поля боя. Целую вас всех крепко, в первую очередь Алексан-дру Алексеевну, Валю, Володю, Шурочку и своего рыженького героя Витечку. Он мне всегда снится. Но теперь пишу вам, что пока жив, здоров, как никогда. Удивительно на войне всё быстро изле-чивается. Но теперь описать, как я живу, скажу вам просто, что писать этого нельзя в письме. Жив буду — всё расскажу. Но быть живым, это правда, тяжёлое понимание, потому что день и ночь мы воюем, не выходя из боя... Привет и целую всех товарищей... Пишите...»

...Бойня, в которую попадут советские части, позже станет поводом для многих историков пе-реосмыслить ход сражения на реке Молочной. Кто-то будет обвинять во всём Жукова, кто-то — Сталина, кто-то — командующего Южным фронтом Толбухина. Будут и такие, кто дойдёт даже до обвинения советского командования во «вредительстве» и «непрофессионализме», при-зывая судить уже давно ушедших командармов за «преступления против человечности». Но мало кто задумается над тем, что «преступления против человечности», совершённые на реке Молочной, стали результатом огромного сте-чения роковых обстоятельств, продиктованных войной, у которой, как известно, свои законы.

Обескровленные советские части, потеряв-шие много сил и людей в боях за Донбасс, по сути, были единственным «кулаком», которым советское командование намеревалось выбить немцев из Мелитополя. Другого в тот момент попросту не было. Не было резервов, не было продовольствия и боеприпасов, не было не только толковых, но и самых обычных коман-диров. Поскольку офицеров и сержантов, под-

нимавших бойцов в атаку, убивали, как правило, первыми, часто временными ротами в боях за Мелитополь командовали рядовые.

Был лишь приказ — «любой ценой». Привычка затыкать дыры на фронтах «штрафниками» станет не только эхом репрессивной политики того непростого времени. Это была ещё и возможность сэкономить на потерях живой силы, решив поставленную задачу ценой жизни тех, кто, будучи приговорён трибуналами к расстрелам и длительному заключению в лагерях, имел возможность искупить вину кровью.

И всё-таки советские войска, прорвав оборону немцев, заняли несколько населённых пунктов и железнодорожную станцию Попово, где было захвачено несколько складов с зерном и боеприпасами. Из официальных источников станет известно о том, что только южнее Мелитополя наступающими советскими частями будет уничтожено более четырех тысяч немецких солдат и офицеров, 38 танков, 16 самоходных и 82 полевых орудия. Форсировав реку Молочную, части Южного фронта ворвутся в Мелитополь, в котором начнутся главные события, частично отражённые в одной из сводок Совинформбюро:

«...В течение 20 октября наши войска, отбивая контратаки противника, вели уличные бои в городе Мелитополь и заняли несколько кварталов. Противник понёс большие потери в живой силе и технике.

В городе Мелитополь продолжались уличные бои. Немецкая пехота, усиленная танками и самоходными орудиями, стремилась вернуть потерянные накануне позиции. Наши войска отбили двадцать контратак противника. Продвигаясь вперёд, наши бойцы очистили от немцев несколько кварталов.

За день боёв уничтожено 1200 гитлеровцев, сожжено и подбито 38 немецких танков и 6 самоходных орудий».

* * *

Даже спустя семьдесят шесть лет Кузьмич, убивший в Мелитополе первого фрица, помнил те бои в мельчайших подробностях.

Старик долил почти остывший чай в кружку и, отхлебнув, продолжил:

— Бой в городе — штука особенная. Это тебе не в окопе сидеть. Тут надо головой вертеть на триста шестьдесят градусов и быстренько сообщать, а не то живо словишь пулю.

Старый фронтовик знал, о чём говорил. Для советских солдат бои за Мелитополь стали проверкой на прочность во всех смыслах. Драться приходилось за каждый дом и подъезд, за каждую улицу. Немцы могли открыть огонь из любого окна. Продвигаться вперёд приходилось мощными рывками при поддержке истребительно-противотанковой артиллерии калибра 45 и 76 миллиметров, при этом огонь из орудий порой велся прямой наводкой. Часто орудийные расчёты вели огонь по противнику из засад с 20-30 метров из-за зданий или заборов.

Кузьмич вспомнил, как помогал артиллеристам играть в «кошки-мышки» с немцами:

— Помню, как мы помогали артиллеристам «сорокапятки» возить по дворам. Заведём орудие в тыл к немцам, жажнем и назад. Пока те соблазняются, откуда им прилетело, мы уж к своим орудиям теми же дворами прикатываем. Я-то в пехоте был, наша задача была прикрывать артиллеристов, но я им тоже помогал. Да и интересно было смотреть, как они из пушки лупят.

— А что страшнее всего было? — спросила Нина.

Немного помедлив, Кузьмич ответил:

— Даже не знаю... Всё было страшно. Страшно было танкам немецким в дуло смотреть. Страшно смерть деток невинных видеть. Страшно своих товарищей после боя собирать. Ладно, если просто убитых собирали, а то куски одни. Разбрасает взрывом, потом ходишь ищешь... Ну, и в рукопашную идти тоже было страшно. Одно другого не слаще. Танков там немецких было!.. — Кузьмич невольно зажмурился. — Тьма-тьмущая! И танков, и самоходок, и миномётов... Немец тогда как озверел. По несколько раз в день в контратаку переходил. Такие нам зубы показал, что мы не знали, будем ли живы. Где отступал, там всё взрывал, поджигал или минировал. Мы уж не рисковали лишний раз что-нибудь трогать. Сколь раз, бывало, начинают наши бойцы товарища убитого поднимать, а под ним граната. Сколь тогда ребят поубивало! Много тогда таких «сюрпризов» немцы понаоставляли.

Кузьмич тяжело встал и подошёл к подоконнику, открыл форточку.

— Вам плохо? — забеспокоилась Нина.

— Не переживай, дочка. Сиди. Всё нормально. Душно просто. Да и засиделся я на одном месте, размяться маленько надо. Мы уж сколь с тобой беседуем? Часа три, поди?

— Не знаю. Наверное, — согласилась Нина.

Постояв у открытой форточки, Кузьмич покурил и вернулся на место.

— Ну, вот. Подышал маленько, можно и продолжить. Про что мы с тобой говорили-то, не припомнишь? Про Мелитополь, кажись?

— Вы говорили про то, как немцы ваших товарищей убитых минировали.

— Да-да... Было такое дело. В общем, дали нам тогда фашисты дрозда, если честно. Так лупили по нам, аж в ушах звенело. На улице же как в трубе. После выстрела весь звук вперёд идёт. Деваться-то ему некуда, вот он и шарашит вдоль улицы, пыль подымая, аж пилотки иной раз с голов срывало. Я-то в каске был, но некоторые ребята в пилотках воевали, мол, ежели есть судьба погибнуть — и в каске погибнешь. И вот в первый же день случилось мне поучаствовать в рукопашном бою. Вот тогда я и убил первого фрица.

— Гордей Кузьмич, а вы могли бы об этом моменте поподробнее рассказать? Если, конечно, вам нетрудно, — осторожно попросила Нина.

— Да нетрудно... Неприятно больше. Расскажу, конечно. Надо, значит, надо. — Кузьмич снова отхлебнул чаю. — В общем, подобрались мы к немецким позициям вплотную и рванули в рукопашную. Немцев свои командиры подгоняют, нас — свои. У них свой приказ, у нас — свой... Короче говоря, налетели мы друг на друга, как коршуны, аж пух и перья в разные стороны полетели. Немцы по-своему орут, мы — по-своему. Кто стреляет, кто ножом тычет, кто руками душит... Кровь аж брызгала во все стороны. Рёв такой стоял, мат-перемат... Страшное дело. И знаешь, то ли меня толкнул кто, то ли я сам как-то вылетел вперёд, но выскочил я на здорового немца. Как сейчас помню — на голову меня выше. Метра под два был, наверное, если не больше... Я на него автомат навёл и со страху на курок нажал, а автомат возьми да заклинь в этот момент.

— Как назло, — подхватила Нина, в голове которой возникла сцена рукопашного боя.

— Так в чём и дело, — чуть не воскликнул Кузьмич. — Я курок жму, а автомат молчит. И в этот момент немец на меня бросается. Лицо всё перекошенное. Он хочет жить, и я хочу жить. Тут кто кого... Выхватил он у меня мой ППШ, размахнулся и долбанул им по мне, как дубиной. Попал куда-то по плечу. Я попятился и упал. Тут секунды на размышление. И в горячке я в него возьми да камнем брось. Поднял с земли чё под руку подвернулось да швырнул в него, а сам думаю: «Всё. Хана мне».

Вдруг Кузьмич задумался и, вспоминая, уставился в точку над головой гостыи.

— Ну, а дальше-то что было? — сгорая от любопытства, спросила Нина, тронув фронтовика за руку.

— А? — встрепенулся Кузьмич.

— Что дальше-то было?

— Дальше что? О чём я говорил-то?

— Вы говорили, что камень в немца швырнули.

— А-а... Но-но... Швырнул я, значит, в него камень и выиграл пару секунд, пока тот отвлёкся. Ага... А потом, как уж так получилось, по сию пору не пойму, только как-то у меня в руках оказалась чья-то винтовка Мосина со штыком. Может, её кто обронил в горячке, да я подобрал... Это ж всё секунды какие-то, там даже не ты сам, а рефлекс за тебя действуют... В общем, схватил я ту винтовку и на немца направил, а он возьми да за штык схватись сдуру-то. Держит его обеими руками, орёт чего-то по-своему и давай у меня винтовку из рук вырывать, а я её держу, не отпускаю. Немец винтовку за штык на себя дёргает, а я на себя — за приклад. Вдруг слышу: как будто издали кто-то орёт: «Коли его! Чего ждёшь!» Тут я очухался и дёрнул винтовку сильнее, а фриц не удержался и упал на спину. Надо колоть. Поднял я винтовку, зажмурился и ткнул в немца. Целил в грудь, а попал в плечо. Он как закричит! Я понимаю, что мне надо того немца добить, а меня всего колотит от ужаса. Как добить, куда колоть? Это ж живой человек, пусть и враг. Дёрнул я винтовку вверх и опять ткнул не глядя. Глаза открываю, а немец живой и мой штык у него в животе. Тут я будто обезумел.

— В каком смысле? — не понимая, спросила Нина.

— Ну, в каком? В прямом! Давай я, в общем, орать и того немца колоть куда попало. А он визжит, извивается, руками штык хватается, весь об него поизрезался, а я всё колю и колю. То в руку ему попаду, то в ногу, то в шею. Я так думаю, от страха это было, что он может подняться и меня заколоть. И тут слышу тоже будто издалека: «Да что ж ты его мучаешь-то, сукин ты сын!» Потом был выстрел, и кто-то мне крепко так врезал в скулу. Отлетел я в сторону и только тогда в себя начал приходить... Врезал мне капитан Морёный. Не мог он уже глядеть, как я немца того колю. Ну, куда же! Кровища одна кругом и визги на всю округу. Чисто свинью колют... Короче говоря, пристрелил он немца, потом вырвал у меня винтовку и врезал мне не то кулаком, не то рукояткой пистолета. Такой синячище потом был... А у меня, понимаешь, просто истерика самая настоящая получилась. И вот я лежу на земле, как дурной, гляжу на капитана, а мне вместо него всё тот немец мерещится. Наклонился надо мной капитан, по щекам меня похлопал, завернул какую-то конструкцию матерную и пошёл. Оказывается, рукопашная к тому времени уже закончилась, и я последний из всех остался, кто с тем немцем возился. — Кузьмич обхватил руками седую голову и, взъерошив волосы, крикнул. — Потом уже, где-то через пару часов, когда у нас небольшая передышка в бою случилась, нашёл меня Морёный, а я сижу за орудием на ящике из-под снарядов и плачу. Сел он рядом со мной, достал сигарету и мне протягивает: «Закуривай». А я совсем не мог говорить. Отмахнулся от сигареты и молчу, гляжу в одну точку. После рукопашной всегда так. Часа по три-четыре отходишь. Ничего потом не помнишь и ничего тебе не надо. Сидишь и думаешь: «Зачем я здесь? Что я здесь делаю?» Ну, дураком временно становишься. Многие так себя чувствовали... Это я в первой рукопашной слабину дал, а потом как дикий становился. Иногда сидишь — автомат в одной руке, нож — в другой. Весь в крови, как барана резал. Нож в немца воткнёшь, дак ещё стараешься поднять аж вот так! — Имитируя движение ножом, Кузьмич крепко сжал кулак с побелевшими костяшками, с силой дёр-

нул рукой вверх, протыкая невидимого врага.

— Ну, дикость! Убийство и убийство. Вспоминать противно. Жить потом бывало неохота... И вот капитан говорит мне: «Зря не куришь, браток. Покурил бы — полегче б было». Потом закурил сам и спрашивает: «Первый раз в бою?» Я кивнул ему, а он мне: «Понимаю... Сам первый раз в таком же состоянии был... Ты уж меня, браток, прости, что я тебя там немного помял. Не выдержал я, гляючи, как ты над немцем издеваешься». Помолчали мы немного... Он докурил, ногой окурочок раздавил, потом положил мне свою руку на плечо по-отцовски и говорит: «Это ничего, что ты в первый раз не смог справиться. Это значит, что ты человек, а не зверь. Но наша с тобой задача этого человека внутрь запрятать на время боя. Мы с тобой его в мирное время на белый свет вытащим, а сейчас нам воевать надо. Ты в следующий раз будь пожестче. Ежели так будешь немца колоть, живым домой не вернёшься. Дам я тебе совет один дельный. В бою забудь о том, что немец — человек. Это враг! Фашист! Это он к нам пришёл убивать, а не мы к нему. А к врагу у нас с тобой не может быть жалости. Мы с тобой солдаты, на которых надеется Родина, а не барышни. Понял ты меня?» И тут с меня как пелена слетела: «Понял, — говорю, — товарищ Морёный!» Потрепал меня капитан за вихры и сказал: «Ну, раз понял, бей фашиста, как того совесть солдатская требует!» Потом глянул на меня весело и спрашивает: «Зовут-то тебя как, вояка?» Я говорю: «Гордей Громов». «Ну, ладно, — говорит, — Гордей. Будь», — и пошёл. Поставил он мне тогда мозги на место. Благодаря его науке мне и удавалось выживать, хотя пару раз крепко от немцев доставалось. Раз нос набок прикладом свернули, потом вправлять пришлось, другой раз ногу штык-ножом пробили, а уж сколь синяков и ссадин было, это и не сосчитать. Но я после того случая так рукопашной стал бояться, что до конца войны для меня это было самым страшным испытанием. Каждый раз себя перебарывал. Потом всю жизнь старался драки сторонкой обходить.

— И что, потом не дрались никогда? — удивлённо спросила Нина.

— Да что ты! Дрался, конечно, но с большой неохотой. Я вообще не любитель кулаками ма-

хоть. Всё мирно надо решать, словами. Кулак — это уже последнее средство.

— Да-а... — вздохнула Нина. — Страшное это дело — война. А я думала, на войне по-другому убивают...

— Как — «по-другому»?

— Ну, не знаю... Выстрелил — и всё.

— Да ну...

Кузьмич махнул рукой и нахмурил брови, вспомнив кровавые рукопашные:

— Ладно бы просто выстрелил — и всё... И душили друг друга, и кололи, и лопатками сапёрными рубили, и буквально зубами рвали. Чё под руку попадётся, тем и били друг друга. Жить-то всем было охота — и нам, и фрицам.

— Спасибо вам, — вдруг тихо сказала Нина.

— За что?

— За то, что рассказали.

— Да было б за что...

— Есть за что, Гордей Кузьмич. Есть... Где бы я ещё такого материала набрала? Я вам очень благодарна. Мне этого для моей книги как раз и не хватало. О войне много написано, но иногда читаешь и не веришь. Я где-то читала заметку из советской газеты об одном бое и, если честно, чуть не смеялась.

Кузьмич напрягся:

— Это чего ж там такого смешного написали?

— Вот скажите, одной гранатой можно двадцать человек убить?

Старик наморщил лоб.

— Ну не знаю... Двадцать-то вряд ли. Ну, четыре, шесть... семь... Нет, ну, ежели где-нибудь в закрытом месте, то оно, может, и получится, и то вряд ли.

— Ну вот я тоже почему-то так же подумала, а в той заметке написали, что один советский лейтенант в рукопашном бою убил из пистолета пятнадцать гитлеровцев, которые на него набросились, а потом ещё двадцать убил гранатой.

Тут улыбнулся уже Кузьмич:

— Да ну... Напишут тоже... Враньё какое-то. Они что ж, ждать будут, пока он их по очереди стрелять будет? Это ж не тир.

— Вот поэтому я вам и благодарна. За правду.

— Тут я с тобой, дочка, согласен. Без правды нельзя книги о войне писать. Вот и напиши, какая она, настоящая война...

Кузьмич задумался, а потом сказал, глядя куда-то в пустоту:

— Ты вот меня, дочка, спросила, как я первого немца убил, а я всё этот случай проклятый вспоминаю, и душа моя не на месте до сих пор. Если б я его убил... Я ж его замучил, как курицу, которую мне мамка велела заколоть. Мне тогда чё, лет тринадцать, поди, было. Поймал я её, а у самого руки трясутся — первый раз мужичью работу делал. Положил её на полено, а она трепыхается, чует, что сейчас ей голову отсарафанят. Прицелился топором и ударил, да как-то неуверенно. Только шею надрубил. Она давай орать благим матом и дрыгаться, а я давай её рубить поскорее, да больше того нажимал её топором по шее. С неё кровь сквозь раны брызжет в разные стороны, а я её всё жмякаю и жмякаю. Мать слышит, курица на всю улицу орёт, увидала, подбежала ко мне, топор из рук выхватила да сама её добила... Так что плохой из меня убийца.

— Вы же не хотели, так получилось... — попыталась успокоить старика Нина.

Но тот прервал её:

— Хотел не хотел, а замучил! И курицу, и немца. Хочешь убить — убей, но не мучь. Война без жестокости — не война, но жестокость должна иметь свои границы. Убивать надо сразу, а как, ежели в тебе всё нутро этому противится? Это только кажется, что убить человека легко. Ты — человек, и враг — человек. Понятно, что это война, а куда ты душу денешь? Душа-то понимает, что это простое убийство, пусть и в благих целях. Тяжко мне, дочка, тот момент вспоминать. До сих пор тяжело...

— Гордей Кузьмич, может, чайку подогреем, а то остыл уже?

— Давай, — согласился старик. — Без чаю разговор не разговор.

Наливая воду в чайник, Нина спросила, не глядя на Кузьмича:

— А как вы с пленными поступали?

— С пленными-то? С пленными мы поступали как полагается. По-человечески.

— И не били даже?

— А чего их бить, когда они безоружные. Поддавали, конечно, ежели особо прыткие попадались, а так-то они смирные были, почти сразу на все вопросы отвечали. Они ж не дураки были —

понимали, куда попали и чего им светит. У нас отродясь не было моды морды пленным бить. Честь какая-то мужская была, что ли... Мы солдаты, и они солдаты. Многих из них Гитлер из-под палки на войну погнал. Мы и бухгалтеров в плен брали, и учителей с крестьянами...

День клонился к закату. За разговорами незаметно пролетели несколько часов. Замерев и лишь изредка задавая вопросы, Нина внимательно слушала старика, который за эти несколько часов успел стать для неё почти родным. Теперь война уже навсегда будет для неё другой, не киношной точно. И Нина, мысленно благодаря судьбу за то, что она свела ее с этим фронтовиком, решила: «Книга должна получиться хорошей...»

Кузьмич уже несколько минут рассказывал о своём детстве в Петрушево, о том, что так и не смог стать астрономом:

— Попалась мне однажды в руки какая-то книжка по космосу. До того интересная... И так я ею увлёкся, что решил стать астрономом. Выучил всю карту звёздного неба, специально ходил в библиотеки, чтобы найти книги по космосу и астрономии. Мне всегда хотелось рассмотреть луну, а как? У меня даже подзорной трубы не было. А тут как-то раз приходит к нам в гости какой-то материн знакомый. Мать возьми да расскажи ему про моё увлечение астрономией. Поговорили да забыли, а он на следующий день принёс мне настоящий морской бинокль. Для меня это стало самым большим подарком за много лет. И вот когда наступало полнолуние, я залезал на крышу нашего дома и часами смотрел через бинокль на луну и звёзды. Потом я захотел собрать телескоп. Даже чертежи нашёл — не то в книжке какой, не то в журнале... Всю эту технологию, считай, изучил. Надо было только материалы нужные, а их-то у меня как раз и не было. Потом мы переехали в Таганрог, а дальше началась война. Дальше всё закрутилось, завертелось... В общем, не до телескопов было. Так и осталась моя мечта несбывшейся...

В этот момент у Нины зазвонил телефон. Сбросив вызов, она быстро написала сообщение: «Я у ветерана. Скоро буду».

— Что-то случилось? — участливо спросил Кузьмич.

Отложив телефон, Нина вздохнула, виновато улыбнувшись старику:

— Надо срочно идти, Гордей Кузьмич. Меня уже потеряли. Подруга под дверью квартиры ждёт, а ключи у меня...

— О-о! Ну, беги тогда, раз такое дело. Прости уж, что задержал тебя своей болтовнёй.

— Ну что вы, Гордей Кузьмич, говорите! Многие хотели бы такую «болтовню» услышать, да не получается, а у меня получилось.

Нина встала из-за стола и торопливо прошла в прихожую. Следом, зашаркав тапками, из кухни вышел Кузьмич.

Одевшись, женщина обняла старика, поцеловав его в небритую щёку:

— Спасибо вам ещё раз, дедушка.

— Это тебе спасибо, дочка, что в гости зашла. Всё лучше, чем одному.

— Вы уж простите, что я у вас так долго задержалась. Думала, на пару часов забегу, а чуть не восемь часов незаметно пролетело.

— Если для дела, то и двадцать часов не жалко. Я ведь тебе даже фотографий своих не показал...

Кузьмич закрыл.

— А можно я к вам тогда завтра ещё раз забегу? Тогда и фотографии посмотрим.

— Да пожалуйста! Я весь день дома.

Нина ещё раз обняла старика.

— Ну... Я тогда пошла.

— Беги, а то там тебя уже заждались. Во сколько хоть забежишь-то?

— После обеда можно?

— Мо-ожно.

Нина уже спустилась на один пролёт, как услышала над головой голос ветерана:

— Дочка! погоди!

Женщина быстро вернулась, застала Кузьмича на пороге квартиры с тремя сотнями в руках. Протягивая деньги Нине, старик виновато сказал:

— Ты уж извини, что дёргаю тебя... Ты ж завтра придёшь?

— Конечно. Мы же договорились.

— На вот тогда купи мне хлеба подового и лимонов пару штук. Если больше выйдет, ещё лучше. Не хватит — я потом тебе доплачу.

Нина мягко отодвинула руку старика:

— Гордей Кузьмич, ну что вы... Я и так вам куплю.

— А как же ты?.. Неудобно же, — залепетал Кузьмич, привыкший за всё платить сам.

Нина покачала головой, глядя на старика, как учительница на проштрафившегося ученика, который не выучил домашнее задание:

— Всё удобно. А вам деньги ещё пригодятся.

Улыбнувшись, Нина побежала вниз, оставив Кузьмича в растерянности.

Проводив гостью, он закрылся на замок и задвижку, выключил в прихожей свет и прошёл на кухню. Сполоснув посуду, не спеша протёр стол, вытер руки, прошёл в комнату и прилёг на кровать. Только теперь он почувствовал, как сильно устал, и удивился этому. Вроде не мешки с картошкой грузил...

* * *

Нина торопливо шла по улице, коря себя за то, что забыла про подругу, которая, наверное, уже сложила на неё все ругательства мира. Встав у обочины, Нина стала голосовать, надеясь, что остановится попутная машина. Как назло, одна за другой шли мимо.

Наконец к обочине «пришвартовалась» старая советская «девятка». Пожилой водитель спросил:

— Куда вам?

— До «Юбилейного» подбросите?

— Двести пятьдесят.

— Идёт.

Сев на переднее сиденье, Нина достала телефон, набрала номер подруги:

— Ань, это Нина. Слушай, извини, что так получилось. Из головы совсем вылетело, что ключи-то у меня. Я у ветерана одного гостила, надо было фактуры для книги набрать. Дед такой клёвый попался... Девяносто четыре года, а сам ходит, варит, в ясном разуме... Мы с ним так разговорились, что я вообще про время забыла. Ты где-нибудь посиди пока, а я скоро буду. Я уже еду. Минут через двадцать буду. С меня ужин. Хлеб дома есть?.. Ясно... Я тогда куплю. Ну, всё. Пока. Давай.

Нина сбросила соединение и облегчённо выдохнула, глядя на погружавшийся в сумерки город. Довольная разговором с ветераном, она уже прикидывала, как начнёт свою книгу. В этот момент водитель спросил:

— Вы писательница?

— Да, а как вы догадались?

— Вы по телефону сказали, что книгу какую-то писать хотите. Я так понял, что про войну?

— Да... про войну.

— А я уж думал, что сегодня на такие темы уже некому писать. Донцова с Марининой кругом.

— А вам что, Донцова с Марининой не нравятся? У них есть интересные вещи, — решила поддержать разговор Нина.

— Я по другим книжкам скучаю.

— Если не секрет, по каким?

— Да какой там секрет... У меня дома до сих пор на полке «Судьба человека» Шолохова стоит. Раз десять уж, наверное, перечитывал. Читали?

— Конечно! Тоже раз пять, наверное. А может, больше.

— Вот это книга.

— Согласна... Это хорошо, что не мне одной такие темы интересны.

— А как иначе! — с убеждённостью сказал водитель, выкручивая руль на повороте. — Эта тема на все века. Все эти гаджеты, эсэмэски, попса эта дурацкая — всё это пройдёт. Может, не сейчас, но будет ещё хорошее время и хорошие песни.

— Вы так думаете?

— Уверен. Не мы, так дети наши до него доживут. Конечно, время сейчас непростое. Очень непростое... Я вот исторические книги про смуту на Руси читал и скажу вам, что сейчас в России тоже смута. Самая что ни на есть. Кровью пахнет. Довела власть народ до ручки. Ну куда ж это годится, пенсия — десятка, а минималка — двенадцать тыщ, при этом коммуналка растёт, цены в магазинах растут, бензин дорожает, к врачу без денег даже не суйся, ребяташек без денег вообще нигде не выучишь... Построили свободную Россию... Никакого порядка. Наши богатеи только карманы себе набивают. Какое им дело до вас, до меня? У них по два-три иностранных гражданства и счёта в западных банках. Раньше депутаты были действительно депутатами, а сейчас кого ни возьми — одни прохиндеи. Идут в Думу только ради депутатской пенсии и зарплат под пятьсот тыщ. До чего дошло, эфэсбэшников на взятках и воровстве ловят! Поневоле товарища Сталина вспомнишь.

Нина лишь молча слушала, соглашаясь про себя с водителем: «Время действительно настало — не приведи господи. Живёшь и боишься завтрашнего дня. Без войны власть народ губит...»

Тем временем водитель продолжал изливать своей случайной слушательнице душу:

— ...Вот у меня отец почти всю войну прошёл, Героем Советского Союза домой вернулся, весь китель в медалях был. Ему от государства всякие льготы были положены, а он про них даже не знал. Всю жизнь проработал обычным водителем в автобусном парке за обычную зарплату. Про войну почти ничего не рассказывал, только в День Победы вспомнит своих погибших товарищей, поплачет — и снова молчок. Мы лишь перед смертью его узнали, что ему то да другое, как ветерану Великой Отечественной войны, положено было. А сейчас какой народ пошёл? Всё им давай за просто так, причём сразу и побольше. Ничего из себя не представляют, но гонору!.. И то им подавай, и это на блюде с голубой каёмочкой. И что интересно, чем мельче человек, тем больше из себя корчит. Иной раз сядет в машину фря какая-нибудь малолетняя, вся изогнётся, пузыри из жвачки дует. По телефону — мат-перемат. Ей лет двадцать есть ли, нет? А она мне, пожилому человеку, тыкает, как официанту... туда вези, сюда... Пришиб бы, честное слово, да руки о вошь всякую марать неохота.

Всю дорогу до дома Нина и водитель проговорили про войну, жизнь и смерть, сойдясь на том, что надо жить и надеяться на лучшее.

* * *

Заждавшись подругу, у магазина «Юбилейный» нервно ходила Анна. Она уже снова хотела звонить Нине, но в это время к ней, резко затормозив, подкатила «девятка». Расплатившись с водителем, Нина выскочила из машины и рассыпалась перед подругой в извинениях:

— Анька, прости меня! Вижу, что зажалась... Вот же я калоша! Блин, так неудобно получилось...

— Да ладно, Нина. Прекращай.

— Нет, не прекращу. Я же понимаю, что подвела тебя. У тебя завтра экзамен, а я тебе такую свинью подложила!

— Ну, подвела и подвела. Успею, подготовлюсь. У нас к заочникам нормально относятся. Если что, всё равно вытянут.

— Промёрзла, наверное, вся?

— Нинка, ну прекрати! Ты как мама моя. Та тоже всё боится, что я обморожусь. Не зима же.

— Но и не лето! — воскликнула Нина, которой было страшно неудобно перед подругой.

— Всё. Пошли!

— Куда?

— На кудыкину гору!

Нина крепко взяла Анну под руки и потащила в магазин за продуктами.

Спустя полчаса в кастрюле на плите уже плавали сваренные пельмени. Нарезая батон, Анна с любопытством спросила подругу:

— Ну, рассказывай, где была? Мне уже интересно узнать, ради чего я на улице столько простояла.

— Долго рассказывать. У ветерана одного. Я сейчас.

Пока Анна накрывала на стол, Нина принесла телефон. Включив диктофонную запись, положила его перед подругой:

— Слушай. Тут наш разговор.

Через час зарёванные, с красными от слёз глазами Анна с Ниной говорили о войне, вспоминая своих дедов, у которых ни та, ни другая не успели узнать о том, как те воевали.

— Дура ты, Нинка! — вдруг сказала, шмыгая носом, Анна.

— Почему?

— Сама не знаешь, какой бриллиант откопала. Я в этого деда даже влюбилась. У меня дедушка почти такой же был — добрый и жизнью битый. Это такую книгу можно написать, все от зависти сдохнут. Не зря я тебя на улице ждала.

— Думаешь, у меня получится?

— А у тебя теперь выбора нет. Умри, но напиши.

— Легко сказать... Я никогда книг о войне не писала.

— А зачем же тогда взялась?

— А затем... Как там Валентина Толкунова пела? «Я не могу иначе...»

— Ну, вот раз не можешь, напишешь... Лад-

но, Нина, мне к экзаменам надо подготовиться. Завтра ещё поговорим.

Весь вечер Нина будет думать о рассказанном Гордеем Кузьмичом, спрашивая себя, выдержала бы она то, что выдержал этот старик, но так и не ответит на этот вопрос. Она заснёт уставшей и по-своему счастливой, а прежде мысленно накидает вступление для будущей книги.

* * *

О своём будет думать и Кузьмич, для которого приход писательницы стал полной неожиданностью. Конечно, к старику нет-нет да заглядывали в гости то соцработники, то журналисты, то учителя со школьниками. Подарят что-нибудь, скажут несколько дежурных фраз и убегают, даже толком не поговорив. А то привезут на митинг в День Победы, усадят всё равно что куклу на скамейку, после митинга конфет с цветами насыют и снова домой отвезут. Вот и весь День Победы. Оно, конечно, приятно, но Кузьмичу всегда хотелось, чтобы с ним просто поговорили, а не так — «здрасьте, до свидания». Один раз подарили телевизор. Хорошо, кто бы спорил, но, когда Кузьмича попросили за этот подарок расписаться, ему стало обидно. Разве за подарки расписываются?

После ухода Нины Кузьмич достал из шкафа фотоальбомы и долго пересматривал свои старые фотографии, ещё раз удивился тому, как быстро пролетела его долгая жизнь. То ли была, то ли не была её. Словно вспыхнула спичка, которая горела 94 секунды...

На одном из снимков Кузьмич увидел себя в окружении своих уже умерших товарищей. Вот в первом ряду Сашка Лобов по прозвищу Бланш: у него постоянно были синие круги под глазами. Сашка умрёт в конце шестидесятых от рака желудка. Рядом — цыган Витька Волков, любитель лошадей, гитары и ночных посиделок у костра. После войны Витька свяжется с какой-то шпаной, получит пятнадцать лет за убийство во время ограбления банковской кассы.

Дальше — очкарик Мишка Крамер, одесский еврей с университетским экономическим образованием. Мишка погибнет девятого мая в Берлине. Погибнет нелепо. Его вместе с несколькими однополчанами раздавит пьяный советский

танкист, который, на радостях решив проехать по Берлину, въедет в колонну пехотинцев. Во втором ряду слева — Юра Барков, художник из Питера. Юра, которого не брали ни немецкая пуля, ни кинжал, погибнет через три года после Победы, спасая из огня свою семью — от короткого замыкания вспыхнет деревянный дом. Юра умрёт уже в больнице от тяжёлых ожогов.

Рядом с Юрой — узбек Бахром Каримов, бывший пастух и настоящий герой. За два года войны Бахром умудрится уничтожить из своего противотанкового ружья ПТРС-41 двадцать пять танков, восемь бронетранспортёров и один самолёт противника. Бахром был словно заговорённый. Обычно немцы довольно быстро вычисляли советских бронебойщиков по облачкам пыли или снега, которые появлялись от пороховых газов, вылетающих из дульного тормоза. Но пули не брали храброго узбека, который со своим патронаподносчиком быстро менял позицию во время боя.

К сожалению, Бахром так и не удостоится официального звания «Герой Советского Союза», получит лишь несколько медалей «За отвагу» и несколько сотен премиальных вместо положенных тридцати тысяч за уничтоженную немецкую технику. На неграмотном узбеке решил сэкономить полковой финансист.

Бахром будет не единственным, кому Родина откажет в высоком звании. Своего «героя» не сможет получить и командир 3-й танковой роты 1-го танкового батальона 1-й танковой дивизии, трижды горевший в танке участник финской войны, старший лейтенант Зиновий Колобанов. 20 августа 1941 года на подступах к Ленинграду в районе города Красногвардейска управлявший тяжёлым танком КВ-1 экипаж Колобанова, израсходовав 98 бронебойных выстрелов, за тридцать минут уничтожит 22 немецких танка и получит при этом в броню своего неубиваемого КВ-1 около сотни вражеских «голубков».

Всего же в тот день пять танков роты Зиновия Колобанова уничтожат 43 вражеских танка, почти две роты немецкой пехоты, артиллерийскую батарею и легковую машину...

О подвиге экипажа Зиновия Колобанова страна узнает из заметки, опубликованной в газете «Красная звезда». Весь экипаж будет представлен к высшей награде. В наградном листе

Зиновия Колобанова, который многие годы будет храниться в архивах Министерства обороны, будет указано не только точное количество подбитых немецких танков, но и фамилии всех членов экипажа, представленных к званию Героя Советского Союза.

Но произойдёт необъяснимое. По каким-то причинам высшее командование посчитает, что подвиг советских танкистов недостаточен для получения высокого звания. В итоге Зиновий Колобанов и Николай Никифоров будут награждены орденом Красного Знамени, Андрей Усов — орденом Ленина, а Николай Родников и Павел Кисельков — орденами Красной Звезды.

Позже той же участи быть лишёнными звания Героя Советского Союза удостоятся забытые всеми знаменосцы Победы, первыми водрузившие знамя над Рейхстагом, — Рахимжан Кошкарбаев и Григорий Булатов. Место их несправедливо займут выбранные буквально наугад Мелитон Кантария и Михаил Егоров...

Кряхтя, Кузьмич прилёг на кровать. Включив настенный ночник, он надел очки и взял со столика книгу «За нами Москва. Записки офицера», потом долго искал нужное место, но, так и не найдя, начал читать, перескочив через несколько глав:

«...Окраина Крюкова несколько раз за день переходила из рук в руки. И противник, и мы не решились вести огонь из артиллерии и миномётов, так как наши боевые порядки стояли вплотную, дрались как бы схватившись за горло. Бою, завязавшемуся с самого рассвета, не видно было конца. Мы с комиссаром сначала сидели на НП, вмешивались короткими распоряжениями, посылали подмогу из резерва. Но это продолжалось недолго. Вскоре мы вынуждены были метаться с фланга на фланг, управляя боем лично. Нашей задачей было во что бы то ни стало не пустить фашистов в Крюково, а они все лезли! И так — двенадцать часов непрерывного боя!

Запомнилось мне из этого боевого дня несколько случаев.

В одну из очередных наших контратак осколком мины ранило в руку бежавшего впереди меня бойца. Кисть его левой руки повисла на

кусочке кожи. Боец приостановился, со злостью оторвал болтавшуюся кисть, швырнул в сторону и, держа пистолет в правой руке, побежал вперёд с пронзительным криком «Урррааа!» В бою я узнал старшину батареи Алишеров.

Когда немец отбросил нас и завязался уличный бой, я перешёл сначала одну улицу, затем другую, а перед третьей остановился, — она сильно простреливалась. Я стоял и ждал. Вдруг кто-то схватил меня сзади за шиворот и сильной рукой поволок назад, толкнул за угол дома, а сам бросился к ручному пулемёту и открыл огонь. Боец стрелял короткими очередями. Кончив диск, он обернулся. Мы встретились глазами. Он виновато улыбнулся и сказал:

— Извините, товарищ командир, что я так с вами поступил. Но на той улице немцы.

В своём спасителе я узнал Спиридона Гапоненко.

...Лежал я на НП второй роты. Со мной был политрук Ахтан Хасанов. С переднего края прибежал молодой боец и, не ложась, под обстрелом, доложил:

— Товарищ политрук, ваше приказание выполнил! — потом он запнулся и произнёс: — Товарищ политрук... меня убили.

— Ты что, Ширван Заде? — спросил молодого таджика политрук, но боец покачнулся и упал. Он был мёртв. Его возглас «меня убили» я запомнил как упрёк молодости войне.

* * *

В единственное светящееся окно на третьем этаже обычной хрущёвской пятиэтажки яркая луна глядела на лежащего на кровати старого человека со сползшими на нос очками и раскрытой книгой, лежавшей у него на груди. Кузьмич не заметил, как уснул, читая сцену боя. Старику снилось его село Петрушино на берегу Азовского моря, радостная мать и сёстры. Мать только подоила корову, нацедив Гордею кружку парного молока. Гордей подбежал к матери, взяв из её рук кружку, поднёс к своим губам, но вдруг увидел вместо молока тёплую вспененную кровь.

В этот момент Кузьмич проснулся, тяжело выдохнул. С трудом сообразив, где он находит-

ся, старик присел на кровати, уперевшись в неё руками. Часы показывали половину четвёртого ночи.

Пройдя на кухню, Кузьмич попил воды, взял сигареты и, накинув на себя куртку, вышел на балкон. Чиркнув спичкой, он закурил, сделал глубокую затяжку. Горячий дым приятно согрел лёгкие. Дымя сигаретой, старик смотрел на ночной город, усыпанный бисером огней, протянувшихся по всему горизонту. Много лет назад здесь шли тяжёлые бои с немецко-фашистскими захватчиками, спалившими во всей ближайшей округе практически все деревни. В здешних лесах даже спустя семь десятков лет то и дело находили следы тех боёв. То дождём вымоет в овраге ржавую винтовку с автоматом, проржавевшую каску или солдатские кости, то грибки случайно наткнутся на остатки старого блиндажа с обвалившейся крышей. Лет пять назад в старом глиняном карьере нашли неразорвавшуюся бомбу...

Сейчас ничто не напоминало о войне, разве что памятный городской мемориал с обелисками, на которых были выбиты тысячи фамилий тех, кто не вернулся с фронта.

Где-то там, в мерцающей огнями темноте, спали люди, не видевшие войны, смерти, виселиц и расстрелов, не вжимавшиеся в землю при звуках бомбёжки, не знающие, что такое хлебные карточки, паёк, ночная тревога и светомаскировка, бомбы-зажигалки, противотанковые рвы и ежи, не плакавшие над убитыми близкими, над развороченными бомбами домами и над собственной разорванной войной жизнью.

Иногда, глядя на мирных людей XXI века, Кузьмич с горечью думал: за тех ли людей проливали свою кровь он и его однополчане? Многие из них погибли ради того, чтобы не было войны... Обагрённая кровью мечта их сбылась: войны давно не было. Семьдесят пять лет не рвутся снаряды и бомбы, не умирают дети и женщины, нет концлагерей, немецких машин-душегубок и расстрелов евреев, нет хлебных карточек, рукопашных схваток, штрафбатов и одной на трёх человек винтовки.

Вроде бы всё хорошо. Но почему тогда порой сердце Кузьмича не находит покоя? Задавая себе этот вопрос, старик не мог себе соврать: люди действительно изменились. Права была

Нина: испортились люди без войны — отравились, подавились мирной жизнью. «А может, плохо, что они этого не видели? — мелькнуло в голове старика. — Может, им нужно узнать, что такое голод, холод, смерть? Больно сыто стали жить. Мы на фронте дохлых лошадей жрали, а они хлебом в футбол играют...»

В ту ночь Кузьмич так и не уснёт. Закрыв балкон, он снова ляжет, но до самого утра будет крутиться на своей постели, думая о Нине и о войне, которая пусть и в лице этой молодой женщины, но всё-таки снова догнала его, словно пришла узнать, как он живёт. И не уйти от неё, не спрятаться, не вырвать из себя. А может, не нужно вырывать? Может, такой и должна была быть судьба Гордея?

Единственное, о чём жалел Кузьмич, так это о загубленной юности и несбывшихся мальчишеских мечтах. Не было, по сути, у него юности. Он так и не успел сделать телескоп, чтобы рассмотреть ночное небо. Хотя кто знает, быть может, именно его юность и была настоящей — такой, какой должна быть юность любого мальчишки, — огненной, яростной, ответственной. Его юность подарила Гордею подвиги, она не знала пощады к врагу и была наполнена самым главным — смыслом, большой идеей, общей для всего народа целью разгромить ненавистного врага и верой в непобедимую Красную армию, искренней любовью к своей Родине. Возможно, именно этого и не хватает мальчишкам XXI века...

Глядя в потолок, Кузьмич думал, вспоминал... В его голове мелькали обрывки его недавнего разговора с Ниной. Шальная мысль о том, что в её лице к нему действительно пришла война, застряла в голове фронтовика как вбитый гвоздь. Старик был далёк от всякой мистики, но в этот момент он почувствовал, как по его рукам побежали мурашки. В голове Кузьмича пронеслось немыслимое:

— А вдруг это и вправду она? Но зачем она пришла? Что ей нужно?

— Посмотреть на мирную жизнь, узнать, как живут люди без войны, что поняли, — мелькнула ответная мысль в голове Кузьмича.

В какой-то момент старому солдату показалось, что он тихо сходит с ума, но неотвязная мысль о войне не уходила: она стояла где-то ря-

дом, у самого изголовья фронтовика...

Чтобы отвлечься, Кузьмич включил телевизор. Переключая каналы, поймал себя на том, что продолжает думать о войне. Какой она стала, эта только с виду «мирная жизнь»? Что ни новостной выпуск — то готовый сердечный приступ: кого-то изнасиловали, обокрали, избили. То губернатора на воровстве поймают, то полицейского с наркотиками, то таможенника со взяткой, а в это время в какой-нибудь деревушке без денег, работы и хлеба в мирное время сидит целая семья. И не потому, что тунеядцы, а потому, что власть такая.

«Всё от власти зависит, — думал Кузьмич, костеря про себя по очереди всех, кого смог вспомнить. — Всё поразрушили, сволочи... Не-ет, в наше время такого бардака не было. Пенсия — день в день. Зарплата тоже. Цены — одни и те же годами. Работа была у каждого, учёба — бесплатно, лечение бесплатно, а сейчас что? Без кошелька не сунься никуда. Куда ни глянь, кругом «мирная жизнь». Кузьмич закряхтел, покачав головой. Не такой он себе представлял эту самую «мирную жизнь», ой, не такой...

* * *

Фронтвик вдруг вспомнил свою боевую подругу Тоню Самойлову, жившую неподалёку. Как-то виделись с ней девятого мая после парада на площади. На вопрос: «Как живёшь, Тоня?» — Кузьмич услышал нехарактерное для Антонины: «Помереть бы поскорей».

Тоня была медсестрой во фронтовом медсанбате, прошла вместе со всеми до самого Берлина. После войны всю жизнь отработала в больнице перевязочной медсестрой в гнойной хирургии. Личная жизнь у фронтовой медсестры так и не сложилась. Из-за врождённого косоглазия никто на Тоню не смотрел. Так и жила, стесняясь глядеть на мужчин, для которых она была всего лишь коллегой по работе. Но желание стать матерью было сильнее врождённого дефекта и природной стеснительности, и однажды у Антонины, приютившей у себя на пару дней случайного «моряка дальнего плаванья», появилась девочка, которую она решила назвать Викой в честь Победы... Жизнь, мель-

кнув, пролетела между домом и больницей. Ни отпусков, ни выходных толком... Думала Антонина, что на пенсии будет полегче, да ошиблась. Жизнь на пенсии стала для неё настоящим адом. Всё из-за дочки, каждый месяц приезжавшей за материной ветеранской пенсией, которую она у неё попросту отбирала, оставляя Антонине Михайловне ровно столько, чтобы та не померла от голода.

А всё начиналось, казалось бы, вполне безобидно... К моменту выхода на пенсию Антонина Михайловна уже сильно болела астмой и аллергиями — сказалась многолетняя работа в больнице. Поначалу Вика предложила матери помогать ей по хозяйству, взяв на себя распоряжение её пенсией. Где в магазин сбегает, где за квартиру заплатит. Постепенно Вика настолько привыкла к тому, что деньги матери находятся у неё в руках, что стала забирать пенсию почти полностью — поначалу под предлогом сберечь от воров, а дальше стала забирать без всяких предлогов.

Как-то Антонина Михайловна обмолвилась:

— Викочка, ну что ж ты у меня почти всё забираешь? Я ни платья себе никакого купить не могу, ни сапог...

Посмотрев на мать каким-то чужим взглядом, холодно ответила Вика:

— Тебе не о платьях с сапожками надо думать, а о кладбище. И вообще, ты передо мной ещё извиниться должна.

— За что же я перед тобой извиниться должна? — не веря своим ушам, сказала посиневшими губами раздавленная резкой переменной дочери Антонина Михайловна.

— Да хотя бы за внешность мою. Родила уродку, а я всю жизнь мучайся. Повезло тебе, что ты в «совке» живёшь. На западе я бы с тебя уже давно денег срубила.

Сказав это, Вика пнула ногой дверь и ушла, оставив мать в предынфарктном состоянии.

В тот день Антонина Михайловна проплачет до самой ночи, хватаясь за сердце, запоздало коря себя за то, что в своё время ни разу не наказала дочку.

...Увидев на руках Антонины синяки, Кузьмич сурово спросил:

— Её работа?

— Её, — тихо ответила бабушка, вытирая платком глаза.

Кузьмич побагровел:

— Да ты что, Тоня! Так себя не уважать... Ты мать или не мать?! Нешто не можешь её приструнить?

Антонина Михайловна лишь горько улыбнулась:

— Поздно, Гордей.

— В общем-то, да, — нехотя согласился Кузьмич, до глубины души возмущённый поведением дочки Антонины. — Ну, хочешь, я ей займусь? Пропесочу её — глядишь, меня послушает.

— Послушает?.. Она уже никого не слушает... Не надо, Гордей. Я сама в этом виновата. Сама её испортила. Сгубила своей материнской любовью. Воспитывать пришлось одной — с мужем у меня как-то не вышло... Не Мерлин Монро.

Антонина Михайловна виновато посмотрела на Кузьмича, а он постарался сгладить ситуацию, опустил глаза:

— А мужики-то прям все до одного ален делоны!..

— Брось, Гордей... Кому косоглазая нужна? Родила её, в общем, для себя. Всё для неё старалась делать. Лучший кусок — ей, лучшую одежду — тоже. Вроде как все росла. Ни разу её не наругала, не шлёпнула.

— Вот и зря, что не шлёпнула, — сердито сказал Кузьмич. — Надо было вовремя ума в задние ворота вгонять, а то сначала жалею, а потом слёзы льём. Шас вон чё депутаты удумали — шлёпнуть своё же дитё нельзя. Потом и вырастают такие, как твоя Вика. Ты меня, конечно, извини, но я б ей...

Антонина Михайловна молча выслушала Кузьмича, лишь смахнув с глаз слёзы.

— И я б её, да сил уж нет... Верно ты всё говоришь, Гордей, только что теперь. Мне казалось, что моя Вика самая лучшая. Любила я её больше жизни, потому и не наказывала. Она где-нибудь коленки себе разобьёт, а я вместо неё реву. Бывало, поругаешь маленько, а она надуется или в слёзы. Потом сижу всю ночь у её кровати, жалею, что поругала, и плачу.

Кузьмич ругнулся, со злостью сплюнув:

— Тьфу! Жалеть её надо было, когда она маленькой была, а теперь чего уж...

— Я боялась, что она на меня обижаться будет, вот и не наказывала. Думала, старость свою себе обеспечила, а выросло вон что. Лучше б и не было её...

— Ну, а в полицию ежели заявить? — неуверенно спросил Кузьмич.

— Да что ты, Гордей! Не хочу я людей на старости лет смешить.

— А жить-то дальше как будешь?

— Да я уже, если честно, не о жизни думаю, а о том, чтоб меня Бог поскорее прибрал.

К сожалению, таких историй Кузьмич слышал немало. Вспомнив Антонину, Кузьмич с сожалением выдохнул:

— Озверели люди. Хуже собак стали...

* * *

Включив телевизор, старик лёг и на удивление быстро уснул.

...Утро озарило комнату Кузьмича ярким солнечным светом. Ветеран открыл глаза, посмотрел на часы, показывавшие двадцать минут седьмого:

— Подъём, капитан Гордей Громов, — прокричал Кузьмич, присев на край кровати.

Вставив зубы, он прошёл в ванную, где долго брился, пару раз порезавшись станком. Потом — на кухню, поставил чайник. Позавтракав, Кузьмич снова лёг на кровать, взяв книгу «За нами Москва. Записки офицера». Время от времени старик вставал, чтобы покурить и хлебнуть чаю с лимоном, и снова ложился, чтобы продолжить чтение, которое захватило его, казалось, всего.

«Комнатушка. На столе коптит гильза от снаряда малокалиберной пушки. Непривычно тихо. Передо мной Малик Габдуллин, политрук Тулегена. Он сидит на табурете, опираясь на край стола, и перелистывает мелко исписанную общую тетрадь. Рядом с ним, в телогрейке, без шапки — широкоплечий великан с продолговатым лицом и отмороженным кончиком длинного прямого носа — Балтабек Джетписбаев, комсорг полка. Он сидит, полуприкрыв глаза усталыми веками. Я слышал о нём как о любимом вожаке молодёжи полка. Офицеры называли этого детину ласкательно — Балташ или почтительно — Балтаэке. Как-то я спросил комиссара, чем комсорг заслужил всеоб-

щую любовь. Мухаммедьяров коротко ответил: «Простотой, искренностью, честностью».

Вот комиссар батальона Трофимов. Его белёные брови потемнели, глаза, как у близорукого, щурятся от усталости; он осунулся, оброс, вместо слов из его простуженного горла вырываются рваные хрипы. Ушанка небрежно откинута назад, пальцы его крутят очередную газетную самокрутку.

Четвёртый — командир батальона, капитан Гундилович, блондин с обветренным лицом и немного отвисшей нижней губой. Он очень похудел, орлиный нос и острый подбородок слишком выделяются на его утомлённом лице, красивые голубые глаза провалились.

Мы молчим и думаем о Тулегене. Я хочу увидеть героя, ищу его лицо среди тысячи лиц бойцов нашего полка. Лица мелькают в моей памяти, но ни на одном из них я не могу сосредоточиться. Я мучаюсь, что не запомнил его. Габдуллин напоминает мне о наших встречах с Тулегином, но мне кажется, что я с ним никогда не встречался.

— Вот, товарищ командир, комсомольский билет и заявление Тулегена Тохтарова о приёме его в партию... Он подал его тогда, перед боем, — Малик передаёт мне небольшой листок бумаги и тонкую книжечку.

Я раскрываю с трепетом комсомольский билет Тулегена — этот идейный паспорт большинства нашей молодежи. Из нижнего угла книжки на меня смотрит открытое лицо юноши с правильными чертами, с высоким лбом и отброшенной назад копной густых чёрных волос. Прямой и ясный взгляд... Какое тонкое и умное лицо у этого рабочего парня!

Вот он какой! Я смотрю на эту карточку и вспоминаю январские дни, подмосковное село Нахабино, помещение больницы, где мы распределяли по подразделениям новое пополнение. Вот подходит к столу рослый юноша в аккуратно заправленной широкой шинели, туго затянутой поясом. Старательно отпечатав несколько шагов по мёрзлому полу, стукнув каблуками, он останавливается по стойке «смирно» и смело, с достоинством представляется:

— Рядовой Тохтаров Тулеген.

— Кем хочешь быть? — спрашиваю его.

— Куда прикажете, туда и пойду, товарищ капитан, — бойко отвечает он.

— В автоматчики пойдёшь!

— Есть — в автоматчики.

Я разворачиваю вчетверо сложенный лист, вырванный из тетради, и вслух читаю: «Прошу принять меня в ряды Коммунистической партии большевиков. Если меня убьют в бою за Родину, прошу меня всё равно считать большевиком».

Сын скотовода, сам рабочий, Тулеген Тохтаров». Так он писал, просто и кратко.

— Ну, рассказывайте, Малик, — предлагаю я Габдуллину.

— Тулеген Тохтаров, — читает Малик страницы из своей тетради, — 1923 года рождения, рабочий из Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области. В роту прибыл четырнадцатого января...

— Рассказывайте, — нетерпеливо перебиваю я его.

— У меня, товарищ капитан, здесь кое-что записано о нём, разрешите прочесть?

— Хорошо, читайте.

— Дисциплинированный и примерный на службе боец. Отлично владеет оружием. В пути следования, в эшелоне, был назначен комсоргом и агитатором. Все поручения выполнял образцово и в срок. Впервые вступил в бой с немецкими оккупантами второго февраля за деревню Ново-Свинухово. В атаку пошёл смело, уничтожил пятнадцать вражеских солдат и троих офицеров.

В ночь на шестое февраля в боях за деревню Бородино он первым ворвался в дом, занимаемый немцами, гранатой и автоматным огнём уничтожил двенадцать вражеских солдат. Во время первой контратаки противника, проявив инициативу, первым бросился с фланга на врага, увлекая за собой рядовых Батталова, Соколова, Игембердинова, Шумилова, Губайдуллина, Настретуллаева и других...

Малик закрывает тетрадь и начинает рассказывать о гибели Тулегена.

— Снаряды рвались за снарядами, разрушая траншеи и осыпая нас огнём. Разрывы оглушали, осколки свистели, не давая нам поднять головы. Только урывками мы вели огонь по идущей на нас немецкой цепи. Вдруг на миг всё стихло, и я увидел, как немцы бегом бросились на Бородино. Я со взводом кинулся к ним навстречу, но уже поздно — они вошли в деревню. Мы очутились лицом

к лицу с врагом. Почти в упор стреляли друг в друга. Дисков хватило только на несколько минут. Патроны кончились. У немцев тоже иссякли боеприпасы. Все, кто остался в живых, бросились врукопашную... С другого конца деревни до меня донеслись возгласы наших бойцов, стрельба участилась. Я хотел броситься туда, как вдруг почти рядом раздался выстрел. В десяти шагах от себя на соседнем дворе я увидел, как, опираясь на левую руку, приподымался немецкий офицер, наводя парабеллум на бойца, раненного, по-видимому, в живот. Я узнал Тулегена. Он, собрав последние силы, взмахнул автоматом и, рывком бросившись на офицера, ударом приклада в голову свалил его и свалился сам. Я подошёл к нему — он был мёртв. — Малик протягивает мне тетрадь и добавляет: — Здесь у меня записаны некоторые слова, сказанные Тулегином.

Я положил тетрадь в сторону и обратился к остальным.

— А вы что расскажете, товарищи?

— Он был алтайским гордым архаром, — горячо вставляет Балтабек.

Я с удивлением смотрю на него: раньше я не подозревал в нём способности к поэтическому мышлению.

— Тулеген был моим земляком, одного мы с ним племени, — с болью в голосе говорит Балтабек.

— Товарищ Габдуллин привёл ряд данных, но Тохтаров, конечно, только в одном Бородине уничтожил намного больше указанного числа немцев, — деловито вставляет Гундилович.

— Да, товарищ капитан, им уничтожено немало вражеских солдат, — подтверждает Малик. — Бойцы мне рассказывали, как он, перебегая из ячейки в ячейку, косил и косил вражескую цепь...

— В бою очень трудно точно учесть, чья пуля нашла немца, — вмешался Трофимов, — но мне кажется, что главное в подвиге Тохтарова то, что он личным примером заражал других, сын далекого Алтая, он за русскую землю призывал драться по-русски.

Поговорив ещё о делах Тулегена и других бойцов, мы распрощались. Я остался один. Коптилка трещит и мигает.

Передо мной — комсомольский билет и заявление Тохтарова. Какую силу и какую ненависть к врагу должен иметь человек, чтобы последнюю

предсмертную судорогу превратить в смертоносный удар по врагу!

Тулеген Тохтаров и Андрей Алёшин — рядовые советские люди. Один — лениногорский рабочий, другой — колхозный парень из-под Павлодара, до последнего вздоха сражавшийся один на один со стальным немецким чудовищем. Им мы обязаны нашей победой!»

...Дочитав книгу, Кузьмич с сожалением положил её на столик:

— Хорошая книга... Надо будет Галю попросить ещё что-нибудь принести.

Скоро должна была прийти Нина. Старику, который искренне проникся к этой незнакомой женщине, открыв ей свою солдатскую душу, уже не терпелось увидеться с ней. Было в ней что-то особенное, фронтовое... Простая, красивая, способная вскружить голову. Люба, жена его, чем-то на неё была похожа...

* * *

До прихода Нины Кузьмич, не находя себе места, бродил по квартире из угла в угол. Он уже приготовил медали с фотографиями, разложив их на диване в гостиной, и успел сварить картошки в мундирах, заранее достал из холодильника баночку солёных огурцов.

Ну вот и долгожданный звонок в прихожей.

Стоя перед дверью, Нина волновалась. Она всю ночь думала, какой бы подарок сделать старику, и приняла решение только утром. В её руках был длинный тяжёлый свёрток и два больших пакета. Когда щёлкнул дверной замок, женщина рывком поправила упавшую на лоб прядь.

Увидев Нину, Кузьмич широко улыбнулся:

— Ну, вот и Ниночка пришла! Проходи, дочка. А я уж заждался тебя.

Нина прошла в уже знакомую ей прихожую, поставила у стены пакеты со свёртком. Пока она скидывала с себя плащ, Кузьмич уже журчал на кухне чаем, наливая его в кружки. Раздевшись, Нина выключила в прихожей свет и прошла на кухню, поставила на стол пакет с продуктами. Кузьмич с удивлением смотрел, как на стол ложатся хлеб, колбаса, пельмени, его любимые лимоны...

— Ниночка, да ты что же столько всего накупила-то? Сколько я тебе должен?

Нина сделала обиженное лицо:

— Гордей Кузьмич, ну зачем вы так? Я же от души. Но это ещё не всё.

Нина принесла из прихожей второй пакет и длинный свёрток.

— А это что? — с любопытством спросил Кузьмич.

— А это вам подарок.

Нина достала из пакета белую вязаную кофту, пушистый шарф и мягкие тёплые тапочки.

— Это всё... мне? — неуверенно спросил старик.

— Это всё вам, Гордей Кузьмич. Я подумала, что это вам нужнее тортика.

Ветеран обнял Нину:

— Спасибо тебе, дочка. Хорошая ты...

— Ну, и ещё один подарок.

— Ещё?

— Можно вас попросить?

— Можно.

— Отвернитесь, пожалуйста.

Кузьмич отвернулся к стене. В это время за его спиной Нина зашуршала, что-то вытаскивая.

— Всё? — нетерпеливо спросил Кузьмич.

— Нет-нет! Ещё немножко.

Наконец Нина сказала:

— Поворачивайтесь.

Старик повернулся и обмер. На столе стоял небольшой... телескоп. Не удержавшись, Кузьмич заплакал, опустившись на стул.

— Ну что вы, Гордей Кузьмич, — кинулась успокаивать ветерана Нина. — Я что-то не так сделала?

— Всё так, дочка. Всё так... Просто... просто ты мою детскую мечту исполнила. Что же я с ним теперь делать-то буду?

— На луну смотреть, — улыбнувшись, ответила Нина. — Должно же быть в жизни место чуду.

Старик смотрел на телескоп, не находя в себе сил прикоснуться к нему.

— Дочка, как же это?.. Он, поди, уйму денег стоит.

— Не дороже того, что сделало для нас ваше поколение.

Для Кузьмича это был особенный день. Могли он думать, что, дожив почти до столетнего возраста, дожждётся исполнения своей мальчи-

шеской мечты. Это было удивительно, чудесно, необъяснимо...

Спустя несколько минут старик снова рассказывал Нине о войне и о своей жизни, о том, по чему он скучает, что ему снится, и о том, что его гложет до сих пор. Рассматривая медали и фотографии Кузьмича, Нина ловила себя на мысли, что прикасается к самой истории. Пройдёт совсем немного, и Кузьмича не станет, а вместо него останутся эти медали, снимки и книга Нины, в которой Кузьмич будет жить уже другой жизнью, наполненной особым смыслом...

— ...Ну, вот, дочка, кажись, я тебе всё о себе и рассказал. Больше рассказывать нечего, — устал выдохнул старик, переживший за два последних дня события нескольких лет. — Ежели ещё какие-то вопросы остались, задавай, пока я не помер.

Нина вздохнула:

— Ай-я-яй, Гордей Кузьмич! Опять вы о смерти? Рановато вам помирать. Вы ещё свой столетний юбилей не отпраздновали.

Старик недовольно поморщился:

— Это чё же, мне ещё шесть годов срок мотать?

— Не мотать, а жить, — с улыбкой поправила ветерана Нина. — Дедушка, я всё забывала вас спросить, а что вам на войне запомнилось больше всего?

Кузьмич задумался, уйдя в воспоминания. Нина не спешила его из них вытягивать, понимая, что за эти два дня старик устал ворошить то, что, быть может, закапывал в своей памяти всю жизнь...

Наконец он прервал долгое молчание:

— Запомнилось чего? Многое... Запомнилось, как мимо меня собака с оторванной человеческой рукой бежала. Зашли мы в какую-то сожжённую деревню на Украине, а там собак бродячих тьма была тьмушая. Они, почитай, на мертвечатине только и жили. Бои там тогда были жаркие. И вот эти собаки коней мёртвых ели, людей... Ещё запомнилось, как немец на нас бомбы сбросил. «Рама» навела. Знаешь, чё такое «рама»?

— Знаю. Немецкий самолёт-разведчик, — тут же ответила Нина.

— Верно... Знала б ты, сколь бед нам причинили эти «рамы»... Сбить «раму» было почти невозможно, вот она и плавала, как коршун под облаками, всё высматривала наши позиции. Обнаружит, а минут через двадцать-тридцать немецкие истребители налетают с бомбардировщиками. Налетят и начинают гонять нашего брата. Кто куда падал, лишь бы выжить. В тот день мы по дороге маршем шли. Обычно-то ночью или вечерами передвигались, а тут приказ был идти вперёд... Сначала «рама» появилась, а потом истребители с бомбардировщиками. Вылетели шестёркой из-за леска и пошли нас шинковать. Первым истребитель шёл — дал по нам очередь, только снег фонтанчиками взметнулся. Я-то в ямку какую-то нырнул, а товарищ мой не успел. Я ему ещё крикнул: «Степан, сюда прыгай!» — а он со страху заметался. Забегал по полю, как заяц. Тут немец давай бомбы кидать. И вот осколком от одной бомбы Стёпе голову, как ножичком, — ш-ш-шик, — Кузьмич сделал резкое продольное движение рукой, — и срезало. Да, знаешь, так ровно-ровно... Только шея потом из плеч вылезла, как у курицы.

Нина в ужасе прикрыла рот ладонью.

— Что поделаешь, дочка... Война есть война, — покачал головой Кузьмич. — И вот он покачался секунду-две и рухнул рядом с собственной головой. Снег белый-белый, а на нём кровь полосами, будто кто из брызгалки поливал... Ещё запомнился один момент. Зашли мы с боями в какое-то село, а это уже в сумерках было. Гнали мы тогда немца крепко, а он, гад такой, отходя, всё поджигал, часто и с людьми. Вот и в том селе немцы согнали всех жителей в конюшню и подожгли. Мы подоспели, но поздно — там, почитай, все уж померли. Кто дыма наглотался, а кто сгорел. Так, с десятков человек остались, да и те все пообгорели... Но мне даже не это запомнилось. Мы когда двери открыли, на нас несколько коней вылетели. Сшибли нас и понеслись по селу, а сами горят.

— Как горят? — не веря своим ушам, спросила Нина.

— Вот так... Как дрова горят, так и они, только поменьше. Так они мне и запомнились — горящими в темноте...

Ошарашенная рассказом ветерана, Нина покачала головой:

— Ужас...

— Да чё уж хорошего. Конечно, ужас.

— Дедушка, а вы думали над тем, что было бы в вашей жизни, если б не война?

— Если бы войны не было, говоришь? — Кузьмич замолчал. Он уже думал над этим и каждый раз приходил к одному и тому же выводу, который и выдал Нине: — Да жись была бы, только другая... Может, даже хуже, вот чё я тебе скажу. Война, конечно, много у нас отняла. Почитай, в каждой семье кого-то убили или в плен угнали. Сколь потом инвалидов было! — Кузьмич махнул рукой. — Но она и дала нам многое.

— Что? — нетерпеливо спросила Нина.

— Да всё! — горячо ответил Кузьмич, вся жизнь которого оказалась связана с войной. — Всё, понимаешь? Не было ни одного пацана и девчонки, которые бы не желали пойти на фронт бить фашистов. Все как один были! Как кулак! — Кузьмич сжал свой мосластый старческий кулак и потряс им в воздухе. — Мы жили только одной мыслью — разгромить ненавистного врага, и это нас объединяло больше, чем какие-то там партийные воззвания и лозунги. Когда в дом попадала вражеская бомба и от него только чёрная яма оставалась, не надо было лозунгов. Люди сами шли на фронт. У нас молодость была знаешь какая? Ух! Нас война, дочка, в один комок слепила, да так, что и посейчас не разлепить. Всё с ней связано. На всю жись. Куда ни крутанись, всё к ней возвращается... Война людей серьёзными сделала. Мальцы у станков на военных заводах стояли. Десять, двенадцать лет... Ящик — под ноги, и — токарь... Шас такие же мальцы за ручку с мамами да папами ходят, а тогда за ручку никто никого не водил. Все были взрослыми.

Слушая старика, Нина невольно соглашалась с каждым его словом.

— Гордей Кузьмич, ну, а вот если бы война пришла к вам, скажем, в виде женщины... Ну, вот представьте. Что бы вы ей сказали?

Кузьмич с удивлением посмотрел на Нину, которая почти прочитала его недавние мысли. В душе фронтовика, не верившего в мистику, что-то съёжилось.

— Что бы сказал-то? — Кузьмич внимательно посмотрел Нине в глаза. — Да так бы ей и

сказал: «Спасибо тебе, война! За всё спасибо. За юность мою боевую, за то, что Родину довелось защитить, за то, что научился держать слово и ценить жизнь, за то, что себя узнал и узнал, что такое человек — где он начинается и где кончается... За то, что помогла мне кое-какие вещи в жизни моей понять». Вот так бы ей сказал и в ножки до самой земли поклонился. Если бы не было войны, мы бы и мир с тобой, дочка, не ценили.

Старик закрыл лицо руками и заплакал. Нина, осторожно встав, подошла к Кузьмичу, прижала его голову к себе, глядя его по седым волосам. Потом присела и, взяв сухие руки старого фронтовика, поцеловала их:

— Спасибо вам, Гордей Кузьмич.

— Да мне-то за что? Это тебе спасибо, дочка. Особенно за телескоп. Буду в него теперь за бабками соседскими подглядывать.

Засмеявшись, Нина обняла старика и виновато сказала:

— Вот и правильно. Гордей Кузьмич, вы простите меня, но мне бежать надо. Дела.

— Ну, коли надо, дочка, беги. Это конечно. Дела прежде всего.

Попрошавшись с Кузьмичом, Нина открыла дверь и вышла на площадку, подумала: «Ну, вот можно и за книгу браться...»

Весь вечер она будет размышлять над тем, что услышала за последние два дня на кухне этого милого старика. Ближе к ночи она включит компьютер и примется за свою книгу о войне, начав её словами: «Был обычный майский день. Уже 75 лет не гремели взрывы бомб и снарядов...»

* * *

Прошло несколько дней. Страна благополучно отметила 75-летие Великой Победы, его широко анонсировали по всем телеканалам. Вместе со страной День Победы праздновали и соседи Кузьмича, а сам он надел на себя китель со всеми своими медалями и орденами. В этот день даже сердце старика билось в особом ритме, словно выбивало: «День Побе-ды! Как он был... от нас... далёк, как... в костре... потухшем... таял... уго-лэк...»

— «...Бы-ыли вёрсты, обгоре-елые-е в пыли-и, этот день мы приближа-али как могли-и-и», —

напевал Кузьмич, наливая себе в рюмку водки и успокаивая сам себя: — Сегодня можно.

Старик встал и, выдохнув, под аккомпанемент зазвеневших на кителе медалей опрокинул рюмку, тихо сказал:

— За вас, ребята.

Кузьмич поставил пустую рюмку на стол, сел. Взяв из пачки сигарету, он чиркнул спичкой. Закурив, как всегда, долго дымил, вспоминая своих боевых товарищей — снайпера Петю Рябушкина, конюха Бекнияз Абдирова, медсестру Люсю, горца Резико Чиковани и узбека Бахрома Каримова, капитана Морёного, очкарика Мишку Крамера и Сашку Лобова, цыгана Витьку Волкова и музыканта Юру Баркова. Вспомнил Кузьмич и своего покойного сына Николая, которого тоже забрала война.

— Ничё, ребята... — устало и в то же время светло сказал Кузьмич. — Скоро свидимся.

Старик тяжело поднялся и, шаркая, прошёл из кухни в комнату, встал перед портретом жены:

— Ну что, Любаня. Я готов. Видала, какой я у тебя бравый солдат! Забирай меня поскорее. Сил уж нет. Соскучился я по тебе... А я вчера в телескоп смотрел. Луну видал. Вся в дырочках. Как сыр. Жалко, мамке показать нельзя. Она бы порадовалась... Ладно, Любаня. Пойду я, прилугу.

...Возле дома Кузьмича уже полчаса стояли неотложка и экипаж ППС. У подъезда на скамейке уставший участковый что-то записывал на листке бумаги, дымя сигаретой. Рядом, вытирая глаза платком, стояла невестка Кузьмича.

Неподалёку несколько жильцов оживлённо обсуждали неожиданную смерть одинокого фронтовика. Сухонькая старушка, качая головой, сокрушалась:

— Дедок-то какой хороший был... Надо же, прямо в День Победы помер.

— А как узнали-то? — спросила молодая соседка Кузьмича, жившая напротив его квартиры.

— Так Галка, невестка его, нашла. Вон она. — Старушка взглядом показала на Галину, стоявшую рядом с участковым. Соседи сочувственно посмотрели в сторону невестки. — Пришла к нему, звонит, стучит в дверь, а он не открывает.

Вызвали МЧС, вскрыли дверь, а он на кровати лежит в кителе с медалями.

— Это он от переживаний. Нельзя ветеранам волноваться. Они каждый год после девятого мая уходят. Насмотрятся военных фильмов, а потом помирают.

Сухонькая старушка тяжело вздохнула:

— Жалко. Уходят фронтовики. Скоро ни одного не останется.

Поставив число и время, участковый протянул лист Галине:

— Галина Ивановна, прочитайте. Всё верно?

Быстро пробежав глазами по листку, женщина молча кивнула.

— Распишитесь.

Участковый убрал лист в папку и расстегнул ворот рубахи, ослабив галстук. Кузьмич в этот день был уже третьим умершим ветераном. В это время санитары вынесли из подъезда носилки, закрытые простынёй. Увидев санитаров, Галина села на скамейку и зарыдала.

Пригласив врача, участковый отошёл в сторону, подумав: «Жалко бабу... Теперь месяц будет валерьянку хлестать...»

Докурив сигарету, участковый бросил на землю окурочек. Сел в «уазик», откинулся на спинку сиденья и сказал водителю:

— Как же я сегодня устал... Трое ветеранов за один день. Лучше б я вагон угля разгрузил.

Водитель, молодой курчавый парень, облокачившись на баранку, понимающе кивнул:

— Да-а... От чего хоть помер-то?

— Врачи говорят: сердце.

Положив локти на руль, водитель вздохнул, уставившись в далёкую точку на горизонте:

— У меня прадед два года назад помер, и тоже в День Победы. Тоже сердце. А я так и не узнал у него о войне...

— Ладно, Лёха. Поехали.

— Куда, товарищ лейтенант?

— Домой...

Примечание

Кроме книг и др. материалов, упомянутых в повести, источниками для автора послужили: протокол заседания бюро Ростовского областного комитета ВКП(б) от 15.09.1941 (ЦДНИРО, ф. 9, оп.01, с.314); сборник «Таганрог. Огненные годы» (1994), альманах «Вехи Таганрога» (№24, 2005); ресурс «КП в Украине», материал Сергея Шведко «Патронов нам выдавали всего пять штук, и винтовка была не у каждого» (28.10. 2013).

Максим Викторович СТЕФАНОВИЧ

родился в Чите в 1973 году. Работает журналистом.

Профессиональный фотограф,

автор нескольких документальных фильмов.

Поэт, прозаик, публицист. Автор девятнадцати книг

прозы и стихов. Участник Всероссийского форума

молодых писателей в Липках (2001).

Член Союза журналистов России и Союза писателей России.

В журнале «Север» публикуется впервые.

